

Правительство отказало мне в этом, но через три недели мне пришлось все-таки оставить командование Черноморским флотом, который не замедлил пойти по общему пути со всеми вооруженными силами погибающего государства Российского. В Петрограде я встретился с американской миссией сенатора Рута<sup>1</sup>, в составе которой находился адмирал Гленнон. Эта миссия обратилась к правительству с предложением послать меня на некоторое время в Америку, для передачи и обмена мнениями по целому ряду военно-морских вопросов, главным образом по ведению минной войны и по борьбе с подводными лодками. Правительство Керенского охотно согласилось на это, потому что желало избавиться вообще от моего присутствия, усматривая в нем явную опасность для начавшейся тогда, 4-го июля, последней фазы государственного развала, закончившегося торжеством большевизма.

### **<«Какими-либо политическими задачами и вопросами я почти не интересовался...»>**

**Алексеевский.** В прошлый раз вы закончили тем, что получили в апреле неожиданное производство в вице-адмиралы и телеграмму о назначении вас командующим флотом Черного моря.

**Колчак.** Получивши это назначение, я вместе с тем получил приказание ехать в ставку для того, чтобы получить секретные инструкции, касающиеся моего назначения и командования в Черном море. Я поехал сперва в Петроград и оттуда в Могилев, где находилась ставка, во главе которой стоял ген. Алексеев, начальник штаба Верховного главнокомандующего. Верховным главнокомандующим был бывший государь. По прибытии в Могилев, я явился к ген. Алексееву. Он приблизительно в течение полутора или двух часов подробно инструктировал меня об общем политическом положении на нашем западном фронте. Он детально объяснил мне все политические соглашения чисто военного характера, которые существовали между державами в это время, и затем после этого объяснения сказал, что мне надлежит явиться к государю и получить от него окончательные указания. Указания, сделанные мне Алексеевым, были повторены и государем. Она сводились к следующему: назначение меня на Черное море обуславливалось тем, что весной 1917 года предполагалось выполнить так называемую Босфорскую операцию, т.е. произвести уже удар на Константинополь. Все это находилось в связи с положением

на нашем южном или левом фланге. Это было в начале июля, а осенью, приблизительно в августе, должна была выступить Румыния, и в зависимости от этих действий предполагалось лишь продвижение наших армий вдоль западного берега Черного моря, через пролив на Турцию и на Босфор, или, в зависимости от положения, предполагалось, что флот должен оказывать содействие этим продвижениям, либо выбросить десант непосредственно на Босфор, и флот должен был постараться захватить его. На мой вопрос, почему именно меня вызвали, когда я все время работал в Балтийском флоте, хотя я и занимался вопросом о проливах, — они меня интересовали чисто теоретически, — ген. Алексеев заявил, что общее мнение в Ставке было таково, что я лично, по своим свойствам, могу выполнить эту операцию успешнее, чем кто-либо другой. Затем, после выяснения всех вопросов, я явился к государю. Он меня принял в саду и очень долго, около часа, меня также инструктировал относительно положения вещей на фронте, главным образом в связи с выступлением Румынии, которая его чрезвычайно заботила, в виду того, что Румыния, по-видимому, не вполне готова, чтобы начать военные действия, и ее выступление может не дать благоприятных результатов, — оно заставит только удлинить наш и без того большой фронт левого фланга: нам придется своими войсками занять Румынию и удлинить фронт почти до Дуная. Это явится новой тяжестью, которая ляжет на нашу армию и положительные результаты вряд ли даст. Я спросил относительно Босфорской операции. Он сказал, что сейчас говорить об этом трудно, но мы должны готовиться и разрабатывать два варианта: будущий фронт, наступающий по западному берегу, и самостоятельная операция на Босфоре, перевозка десанта и выброска его на Босфор. Тут еще было прибавлено государем: «Я совершенно не сочувствую при настоящем положении выступлению Румынии: я боюсь, что это будет невыгодное предприятие, которое только удлинит наш фронт, но на этом настаивает Французское союзное командование; оно требует, чтобы Румыния во что бы то ни стало выступила. Они послали в Румынию специальную миссию, боевые припасы, и приходится уступать давлению союзного командования».

Получив эти указания, я уехал в Черное море в тот же вечер. Прибывши в Севастополь, я принял Черноморский флот от вице-адмирала Эбергарда, который меня уже подробно, в течение целого дня, посвятил в действительное положение Черного моря.

Положение в Черном море было таково: главнейшие вопросы, которые тогда стояли, были, во-первых, обеспечение безопасности Черноморского побережья от постоянных периодических набегов быстроходных крейсеров «Гебена» и «Бреслау», ставивших в очень опасное положение весь транспорт на Черном море. А транспорт

на Черном море и перевозки имели главное значение для кавказской армии, потому, что подходы к кавказской армии были чрезвычайно трудны, и нужно было базироваться на море. Первой задачей было, как наилучше обезопасить транспорт и обеспечить побережье и порты, — главным образом восточной части Черного моря, откуда шел транспорт для снабжения кавказской армии, — от угроз, которые над ними висели ввиду постоянных рейсов «Гебена» и «Бреслау». Все это осложнилось еще появлением подводных лодок, которые прошли Босфор. Несколько лодок вошли в Варну — болгарский порт, а другие выходили из Босфора и начали свою работу, выражавшуюся в потоплении транспортов. Меры, которые принимались для этого, были явно недостаточны, т.е. конвой транспортов при помощи миноносцев страшно задерживал движение, потому что миноносцев было мало, и обеспечить конвоирование этих транспортов было нельзя.

Следующей задачей была подготовка к так называемой Босфорской операции, о которой я сказал раньше. Характерно следующее обстоятельство: в полночь я поднял свой флаг, Эбергард спустил, и я вступил в командование в Черном море. Через несколько минут после этого (теперь я могу говорить об этом совершенно открыто, а тогда никто этого не понимал, и думали, что это было исполнено мною случайно, а между тем все это проделывалось совершенно сознательно и определенно) было принято радио, которое было расшифровано, о том, что крейсер «Бреслау» вышел из Босфора в море. Был указан точно час, — кажется, в 11 часов вечера. Я сейчас же призвал соответствующих чинов своего штаба, разобрал на карте вероятное положение, откуда он может идти, где он может быть. Я приказал немедленно выходить своему флагманскому линейному кораблю, поднимать пары на «Императрице Марии», — другой дредноут, к сожалению, выйти не мог, — я взял еще крейсер «Кагул», пять или шесть миноносцев и с рассветом вышел в море.

Это было с 6-го на 7-е июля. Как раз при выходе, «Бреслау» послал на Севастополь подводную лодку, но эта лодка была замечена с аэроплана, который меня сопровождал; мне удалось увернуться от нее и выйти в открытое море. Это мне подтвердило, что неприятельское судно действительно там находится. В 3 часа дня я заметил на горизонте дым и встретился с «Бреслау».

По его положению и курсу я заметил, что он идет на Новороссийск, главную базу, откуда шло питание для нашей кавказской армии. Увидевши меня, он сейчас же повернул обратно на Босфор. Я гнался за ним до позднего вечера, когда наступившая тьма и гроза нас разделили. Я имел возможность открыть по нем огонь с предельной дистанции, приблизительно 11–12 миль, насколько хватало орудия, но огонь

этот действителен не был. Потом я узнал, что на нем было некоторое количество раненых осколками от моих разрывавшихся снарядов.

Я потому подробно останавливаюсь на этом неважном случае, что это был единственный выход крейсеров «Гебен» и «Бреслау» за все время командования мною в Черном море. Потом я принял меры, которые парализовали их выход, и они уже более не появлялись в Черном море. Затем я вернулся обратно в Севастополь и через несколько дней приступил к выполнению уже серьезного заграждения Босфора минами, по известному, выработанному уже плану, как от выхода надводных судов, так и подводных лодок. Эта операция непосредственно над Босфорскими укреплениями была выполнена нашими минными судами непосредственно под моим руководством. Я выходил на корабле в это время сам, и Босфор мы заградили настолько прочно, что в конце концов, установивши еще необходимый контроль из постоянного дежурства и наблюдения миноносца, для того, чтобы эти мины не были уничтожены и вытралены, и для того, чтобы, в случае надобности, укрепить снова эти заграждения, мы, в конце концов, совершенно обеспечили свое море от появления неприятельских военных судов. Правда, туркам и немцам удавалось под берегом очищать море от мин, и они посылали транспорты очищать от мин Зонгулдак. Они нуждались в угле, мы же эти транспорты ловили и уничтожали, и это всегда благополучно проходило.

Что касается подводных лодок, то с ними борьба была несколько труднее, но и те подводные лодки, которые осмеливались выходить к Севастополю, были замечены только в январе 1917 года. Весь транспорт на Черном море совершался так, как и в мирное время. Минные заграждения, дозорная служба, надлежащим образом организованная и надлежащим образом развитая, радиосвязь дали возможность обеспечить нам черноморский бассейн совершенно безопасный от всяких покушений со стороны неприятеля и обеспечить совершенно безопасный транспорт для армии. Несколько сложнее было с теми лодками, которые пробирались в Варну, и то часть их удалось пробить при помощи заграждений. Затем, в декабре месяце, из Константинополя прорвались несколько больших миноносцев в Варну и две канонерские лодки. Эти канонерские лодки были обнаружены крейсером «Кагул» и были потоплены недалеко от Босфора, около мыса Карагалу.

Таким образом, в Черном море наступило совершенно спокойное положение, которое дало возможность употребить все силы на подготовку большой Босфорской операции. По плану этой Босфорской операции, в мое непосредственное распоряжение поступила одна сухопутная часть, дивизия ударного типа, кадр которой мне был прислан с фронта, и командиром ее был назначен один из лучших офицеров

Генерального штаба — ген. Свечин<sup>1</sup>; начальником штаба был назначен полковник Генерального штаба Верховский. Эта дивизия готовилась под моим непосредственным наблюдением и должна была быть выброшена первым десантом на неприятельский берег, для того, чтобы сразу на нем обосноваться и обеспечить место высадки для следующих войск, которые должны были идти за ними. Так вся эта подготовка работ шла до наступления государственного переворота в конце февраля месяца.

В Черном море, как и для меня, этот переворот был совершенно неожиданным. Обстоятельства, которые застали меня, были следующие. Работа по подготовке Босфорской операции должна была закончиться по плану в марте или апреле месяце, но рядом с этим планом шла подготовка других работ. В августе было выступление Румынии, значит, тогда у меня явилась забота на Дунае: образование флотилии на Дунае. Все это заставило меня принять ряд других военных действий в 1916 году. Босфорская же операция предполагалась весной 1917 года. Ко времени начала 1917 года выяснилось уже окончательно, что из двух планов может быть приведен в исполнение только один, потому что неудачи на румынском фронте мешали возможности Босфорской операции, и возможна была только десантная операция.

**Алексеевский.** А дивизия Свечина была передана вам еще до выяснения возможности первого плана?

**Колчак.** Да, она тогда только начала серьезно формироваться. Нами предполагалось перебросить туда и часть орудий с севастопольской крепости; там шла подготовка всех материалов и т. д.

**Алексеевский.** Мы подошли к той части вашей деятельности, которая носит не только профессиональный и технический характер, но и политический. В связи с этим Комиссия считает необходимым поставить вам вопросы о ваших политических взглядах в молодости, в зрелом возрасте и теперь, а также о политических взглядах вашей семьи.

**Колчак.** Моя семья была чисто военного характера и военного направления. Я вырос в чисто военной семье. Братья моего отца были моряками. Один из них служил на Дальнем Востоке, а другой был морской артиллерист и много плавал. Вырос я под влиянием чисто военной обстановки и военной среды. Большинство знакомых, с которыми я встречался, были люди военные. Какими-либо политическими задачами и вопросами я почти не интересовался и не занимался. Как я говорил, когда я поступил в корпус, я начал заниматься исключительно военным делом и затем меня увлекали точные научные знания, т. е. математические и физические науки. Науками социального и политического характера я занимался очень мало. Был один период у меня, о котором я могу сказать несколько слов, когда меня интересо-

вали эти вопросы, — это был период моего пребывания в корпусе уже в последних, старших, классах, когда я начал работать на Обуховском заводе. Я вырос на этом Обуховском заводе и постоянно на нем бывал. Пребывание на заводе дало мне массу технических знаний: по артиллерийскому делу, по минному делу и т.д. В корпусе мне не нужно было заниматься этими предметами, ибо я был знаком с ними гораздо лучше и более обширно, чем преподавалось в корпусе, потому что самая обстановка и среда давали мне чрезвычайно много по этой части. Затем я увлекался заводским делом. Было даже такое время, когда приезжал ко мне на завод английский заводчик, известный по пушечному делу, Армстронг<sup>2</sup>. Мой отец его знал хорошо, и он предлагал, зная мою работу по техническому делу, взять меня в Англию, чтобы я прошел школу там на его заводах и сделался инженером. Но желание плавать и служить в море превозмогли идею сделаться инженером и техником.

Близость завода и возможность получить огромные знания меня, молодого человека, увлекали, и у меня явилась тогда идея — в свободное время пройти курс заводской техники. Я начал дело с самых первых шагов, т.е. начал изучать слесарное дело, и работа на этом заводе сблизила меня с рабочими. У меня было много знакомых рабочих, которые меня обучали. Они звали меня и благодаря этому соприкосновению с ними, работе в мастерских, постоянному общению с ними, меня заинтересовали на некоторое время вопросы политического и социального порядка. Кое-что я читал по этому вопросу, долго занимался, не могу сказать изучением его, — меня тогда интересовал вопрос рабочих, интересовали вопросы заводского хозяйства, вопрос труда и т.д., — но я повторяю, что я не изучал этого дела; я с ним знакомился, потому что был в такой среде, где об этом говорили, и меня до известной степени это интересовало.

Изучением же этих вопросов я не занимался потому, что у меня не хватало времени. Когда я перешел в последний выпускной класс, где я был занят другим, чисто специальным военно-морским делом, мне пришлось прекратить эти занятия, и я больше не занимался такими вопросами. О вопросах политического и социального порядка, сколько я припоминаю, у меня вообще никаких воспоминаний не осталось. В моей семье этими вопросами никто не интересовался и не занимался. Мой отец, как я говорил, был военный, севастополец; вся среда была военная или техники-специалисты Обуховского завода.

**Алексеевский.** Скажите, адмирал, в 1904–5 году, когда вы участвовали в русско-японской войне, вы, как человек, хорошо знающий морское дело и изучавший в деталях и на практике постановку его в России, не могли не видеть, что наши морские неудачи определились политическими обстоятельствами и в особенности тем, что во главе этого дела

стоял в. кн. Алексей Александрович и что неудачи морские решили и сухопутную кампанию, — вы тогда не пришли, как и большинство интеллигентного русского общества, к выводу, что необходимы политические перемены во что бы то ни стало, хотя бы даже и путем борьбы?

**Колчак.** Я считал необходимым уничтожение должности генерал-адмирала, и это совершилось как результат войны. Я считал это безусловно необходимым, но главную причину я видел в постановке военного дела у нас во флоте, в отсутствии специальных органов, которые бы занимались подготовкой флота к войне, отсутствием образования. Флот не занимался своим делом, — вот главная причина; и из первого объяснения вы видите мое отношение к этому вопросу. Я считаю, что политический строй играл в этом случае второстепенную роль. Если бы это дело было поставлено как следует, то при каком угодно политическом строе вооруженную силу создать можно, и она могла бы действовать.

**Попов**<sup>3</sup>. Каково было ваше отношение, адмирал, к революции 1905 года?

**Колчак.** Мне с нею не пришлось почти сталкиваться. В 1905 году я был взят в плен, затем я вернулся, был болен и лечился, а остаток этого времени я был в Академии наук, где до начала 1906 года стал работать по созданию Генерального штаба, так что я как раз в этот период не был в соприкосновении с событиями революции 1905 года и в политической деятельности участия не принимал.

**Председатель**<sup>4</sup>. Каково было ваше идейное отношение к этому делу?

**Колчак.** Я этому делу не придавал большого значения. Я считал, что это есть выражение негодования народа за проигранную войну, и считал, что главная задача, военная, заключается в том, чтобы воссоздать вооруженную силу государства. Я считал своей обязанностью и долгом работать над тем, чтобы исправить то, что нас привело к таким позорным последствиям<sup>5</sup>.

**Алексеевский.** Значит, вы считали, что техническая, профессиональная постановка военно-морского дела была причиной нашего поражения, что самая постановка была ошибочна, т.е. вы считали ее как бы добросовестной ошибкой, и считали, что она происходила не из условий политического строя, а из условий ошибки?

**Колчак.** Я приписывал именно этому, потому что я считаю, что политика никакого влияния не могла иметь на морское образование, на военную организацию, — просто у нас настолько не обращалось внимания на живую подготовку во флоте, что это было главной причиной нашего поражения.

**Алексеевский.** Далее, адмирал, позволителен еще вопрос. Ведь не обращалось внимания потому; что тот, кто должен обращать внимание,

не делал этого. Главой всех военных сил был император, и императорская фамилия и династия распределяли между собой все важнейшие роли, а над всеми, как глава военных сил, был император?

**Колчак.** Тут были общие причины. Я видел здесь, на Востоке, как мы вели боевую подготовку, чем занималось командование, чем занимались командиры. Конечно, общая система была неудовлетворительна.

**Алексеевский.** У нас есть поговорка, что рыба начинает разлагаться с головы. Но приходили ли вы к убеждению, что именно сверху нет ничего, кроме слов, в отношении ответственности и руководства?

**Колчак.** Я считал, что вина не сверху, а вина была наша, — мы ничего не делали.

**Чудновский**<sup>6</sup>. Скажите, пожалуйста, были ли вам указания и зависело ли от вас выполнить определенный план? Я имею в виду командование флота и потому спрашиваю, имели ли вы какие-нибудь указания сверху, что необходимы некоторые перетасовки для того, чтобы восстановить боевую единицу?

**Колчак.** Я не помню, я был слишком молодой офицер, чтобы иметь эти указания в тот период.

**Чудновский.** Когда вы говорите, что виновато само командование, то получается впечатление, что командованию была дана определенная задача, которая им не выполнялась. Мне это непонятно, потому что, если верховное командование дает определенные боевые задачи, и эти задачи не выполняются, то оно принимает меры.

**Колчак.** Я вам на это скажу, что причины лежали, как мне они представлялись, в ином. Возьмите постановку боевых стрельб, как они тогда были поставлены. Никаких научных оснований для этого не было разработано. Стрельбы производились только для отбывания номера. Инструкции, которые давались свыше, требовали с нас выполнения боевой подготовки, но сами исполнители, благодаря своему невежеству и своей неподготовленности, не могли выполнить. Из этого ничего не получалось, — наш флот стрелять не умел. Но, повторяю, конечно, сверху требовали, чтобы флот стрелял, в этом никакого сомнения быть не может, потому что не могли же сверху исходить другие требования. Выполнение же этих требований было никуда негодное благодаря нашему невежеству. Ведь программы, задачи, инструкции составлялись чрезвычайно резонно и логично, и обоснованно, но выполнение их было ужасно благодаря общему невежеству, отсутствию знаний у наших руководителей, отсутствию подготовленных людей для того, чтобы руководить флотом, потому что к этому времени уже флот представлял из себя такую сложную боевую машину, что он требовал других людей, более воспитанных и подготовленных. Я вспоминаю тот период и период последней войны, — ведь ничего похожего не было. Здесь, наконец,

после страшного урока у нас был флот, отзывы о котором были самые лучшие. Может быть, он был слаб и мал, но отзывы о нем английские адмиралы давали самые лестные. Я прямо скажу, что постановка артиллерийского дела у нас в последнюю войну была великолепно разработана, и мы прекрасно стреляли. Минное дело стояло у нас, быть может, выше, чем где бы то ни было. К нам приезжали учиться. Меня американцы после посещения Черноморского флота вызвали к себе для того, чтобы я мог им дать данные о постановке нашего минного дела. Это дело меня больше всего заботило. Я думаю, что я прав, потому что когда после японской войны группы офицеров взялись честно за свое дело, когда они прежде всего смотрели на то, на что им нужно было смотреть, т.е. на создание органа, который бы занялся подготовкой к войне, — когда у этого маленького кружка явился подъем знаний и известное добросовестное отношение к своим обязанностям, которое явилось как известный результат событий, тогда мы создали флот, независимо от того, какой был политический строй. Так что я повторяю, — вооруженная сила может быть создана при каком угодно строе, если методы работы и отношение служащих к своему делу будут порядочные. Наоборот, при каком угодно строе, если такого отношения не будет, вы вооруженной силы не создадите.

**Алексеевский.** А не было ли у вас мысли о том, что удаление вел. кн. Алексея Александровича<sup>7</sup> и устранение от руководства, от постановки боевого дела во Флоте и адмиралтействе старых адмиралов было делом не столько группы молодых, энергичных офицеров, которые образовала кружок и содействовали образованию Генерального штаба, сколько делом общего политического настроения и тех политических перемен, которые создались наличием хотя бы такого учреждения, как Гос. дума, и наличием общественного контроля?

**Колчак.** Несомненно.

**Алексеевский.** Считали ли вы, адмирал, что переменившиеся политические обстоятельства в значительной степени дали этому возможность?

**Колчак.** Конечно, да; хотя, повторяю, при оценке роли генерал-адмирала, какой она тогда была, она всегда представлялась для меня совершенной фикцией, которая не оказывала почти никакого влияния. Алексей Александрович решительно ни во что не входил; я его никогда не видел, и ни в какие дела он в сущности не вмешивался. Он имел настолько малое влияние, что, по-моему, это была чистая синекура. Фактического влияния Алексея Александровича на флот я, находясь во флоте, не чувствовал.

**Алексеевский.** Но, может быть, вы смешиваете влияние положительное и отрицательное? Положительного, творческого влияния

не было, отрицательное же влияние было все время, потому что через него проходили все назначения. Он представлял, рекомендовал, поддерживал, он создавал органы во флоте, он персонально подбирал лиц, которые благодаря участию некоторых специалистов могли составить инструкцию. Но о том, как вести практическую стрельбу и проверить, исполняется ли все, что необходимо, или нет, — они понятия не имели, и старые адмиралы не были способны даже это оценить.

**Колчак.** Несомненно, могли быть и эти влияния. То управление флотом, которое было тогда, несомненно, имело в этом смысле влияние.

**Алексеевский.** В частности, могли ли быть отправлены эскадры Рождественского<sup>8</sup> и Небогатова<sup>9</sup>, если бы существовал Генеральный штаб или какое-нибудь руководство флотом?

**Колчак.** Трудно теперь сказать, — но думаю, что они не были бы отправлены.

**Алексеевский.** Таким образом, вы из неудач войны с Японией не делали никаких политических выводов?

**Колчак.** Нет. Вспышку 1905–6 года я приписываю исключительно народному негодованию, оскорбленному национальному чувству за проигранную войну. Но повторяю, что я, например, приветствовал такое явление, как Государственная дума, которая внесла значительное облегчение во всей последующей работе по воссозданию флота и армии. Я сам лично был в очень тесном соприкосновении с Государственной думой, работал там все время в комиссиях и знаю, насколько положительные результаты дала эта работа.

**Алексеевский.** Таким образом, в вас неудачи японской войны не вызвали никаких сомнений в отношении политического строя, и вы остались по-прежнему монархистом?

**Колчак.** Я остался по-прежнему.

**Алексеевский.** И, в частности, никаких сомнений в династии это не вызвало?

**Колчак.** Нет, я откровенно должен сказать, что ни в отношении династии, ни в отношении личности императора это у меня никаких вопросов не вызвало.

**Алексеевский.** Я думаю, что для Комиссии было бы очень интересно, чтобы вы, раньше, чем перейдете к рассказу о вашей деятельности, которая приняла оттенок политический, рассказали бы нам о ваших личных отношениях к некоторым наиболее видным деятелям прошлого режима: к императору Николаю, к тем великим князьям, с которыми вы имели отношения, к некоторым вдохновителям старого режима последнего царствования — Победоносцеву<sup>10</sup>, Плеве<sup>11</sup>, к некоторым министрам, например, к тому министру, который оставался все время при императоре, — барону Фредериксу<sup>12</sup>.

**Попов.** Нам было бы интересно узнать, мирились ли вы с существованием монархии, являлись ли вы сторонником ее сохранения, или если не японская война, то революция 1905–6 года внесла изменения в ваши политические взгляды?

**Колчак.** Моя точка зрения была просто точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в несении службы так, как эта присяга того требовала. Я относился к монархии, как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя. Я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И, сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.

**Алексеевский.** Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией и в частности с семьей бывшего императора, события последних лет перед революцией повлияли в значительной степени на разрушение тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности, появление Распутина<sup>13</sup>, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и в частности к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что и в военно-морской среде существовали такие же настроения. Так вот, захватывали ли вас эти настроения и в какой степени?

**Колчак.** Насколько мы получали эти сведения и, в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду, и меня и тех, которые об этом деле осведомлялись и получали какие-нибудь известия. Я, например, помню такой случай. В 1912 году, когда я плывал на «Уссурийце», — верно это или нет, — прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты, в шхеры, и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров. Но дело в том, что мы в это время плавали, получали такие известия, но на самом деле такого факта и не было, никого из нас не звали и никакого Распутина мы не возили. Эта история глубоко возмущала нас, но непосредственно с ней мы не соприкасались. Никто толком не знал, — была только масса слухов и разговоров.

**Денике<sup>14</sup>.** Мы как будто бы остановились на том, как сложились ваши воззрения к концу 1906 года. Что же, в дальнейшем за этот период времени с 1906 по 1917 год, во времени революции, происходили ли

изменения ваших политических воззрений и принимали ли вы какое-нибудь прямое или косвенное участие в политической жизни страны?

**Колчак.** Нет. Я не принимал участия; я в это время был занят чисто-технической работой, у меня не было времени, я соприкасался с ними, поскольку бывали разговоры.

**Алексеевский.** Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: вы сначала нам скажите, имели ли вы личные отношения с бывшим императором и с выдающимися членами и деятелями династии и, в частности, имели ли вы хоть одно свидание с Распутиным?

**Попов.** Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой революции 1917 года?

**Колчак.** Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о государе. Нужно сказать, что до войны, — меня выдвинула война, — я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами... и потому непосредственных сношений с ними не мог иметь по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среде придворной, среде правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими правительственными лицами только тогда, когда я работал в Генеральном штабе, когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами, а кроме своего прямого начальства, я непосредственно ни с кем не мог сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в Ставке. Перед этим я видел его, когда он приезжал на смотры во флот.

При дворе я никогда не бывал. В 1912 году я видел государя, и царскую фамилию, когда она стояла на рейде (на яхте) «Штандарт», в шхерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал «Пограничником». Туда прибыл Эсен. Мой миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины. Но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец назначен был идти рядом с ними. На мой миноносец прибыл государь, свита его и адмирал Эсен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей — «Амуром», который ставил мины. Это был случай, когда государь был у меня на миноносце. Но так как я был командиром, стоял на миноносце и управлял им, то не мог с ним разговаривать. Затем, после окончания постановки мин, я прошел на «Штандарт».

**Попов.** Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли вы тогда монархистом или нет?

**Колчак.** Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда этого вопроса: «Каковы у вас политические взгляды?» никто не задавал. Я не могу

сказать, что монархия это — единственная форма, которую я признаю. Я считал себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такового не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на «Штандарте»; затем я второй раз видел императора в Ревеле, когда он прибыл на смотр, на крейсер «Россия». Я тогда стоял во фронте; он пришел, обошел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связей. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на «Штандарте», — во время завтрака. Из великих князей до 1917 года я встречался в Морской академии с Кириллом Владимировичем<sup>15</sup>, видел я также великих князей, когда были смотры.

**Алексеевский.** С Распутиным вы ни разу не повидались?

**Колчак.** Нет, ни разу не видал.

**Алексеевский.** В числе вещей у вас есть икона — золотой складень. Там как будто есть надпись, что она вам дана от императрицы Александры Федоровны, от Распутина и какого-то епископа.

**Колчак.** У меня есть благословение епископа омского Сильвестра<sup>16</sup>, которое я от него получил. Это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему; он получил ее от каких-то почитателей с надписью, и так как у него другой не было, то он мне эту и подарил.

**Алексеевский.** Мы бы хотели, чтоб вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после Февральского переворота, — изменились ли ваши политические взгляды за это время и какими они представляются в настоящее время?

**Попов.** Какова была ваша общая политическая позиция во время революции?

**Алексеевский.** Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений вы не имели.

**Чудновский.** Мы бы хотели знать в самых общих чертах ваши политические взгляды во время революции, о подробностях вашего участия вы нам расскажете на следующих допросах.

**Колчак.** Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, — Протопопов<sup>17</sup> и т.д., — не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной думы, как высшей правительственной власти.

Лично у меня с Думой были связи, я знал много членов Государственной думы, знал как честных политических деятелей, совер-

шенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно, считая, что из всего состава министров единственный человек, который работал, это был морской министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал, и поэтому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения государя, ясно было, что уже монархия наша пала, и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял присягу вступившему тогда первому нашему Временному правительству. Присягу я принял по совести, считая это правительство как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии, и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, — что я, в конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего, и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе российской власти<sup>18</sup>.

Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, — для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, — что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым, и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствовал революцию, как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм, — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале, — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего, — и образа правления, и политических соображений.

**Попов.** Как вы относились к самому существу вопроса свержения монархии и какова была ваша точка зрения на этот вопрос?

**Колчак.** Для меня было ясно, что монархия не в состоянии довести эту войну до конца, и должна быть какая-то другая форма правления, которая может закончить эту войну.

**Алексеевский.** Не смотрели ли вы слишком профессионально на этот вопрос?

**Колчак.** Я не могу сказать, чтобы я винил монархию и самый строй, создавший такой порядок. Я откровенно не могу сказать, чтобы причиной была монархия, ибо я думаю, что и монархия могла вести

войну. При том же положении дела, какое существовало, я видел, что какая-либо перемена должна быть, и переворот этот я главным образом приветствовал, как средство довести войну до счастливого конца.

**Алексеевский.** Но перед вами должен был встать вопрос о дальнейшем, — какая форма государственной власти должна существовать после того, как это будет доведено до конца?

**Колчак.** Да, я считал, что этот вопрос должен быть решен каким-то представительным учредительным органом, который должен установить форму правления, и что этому органу каждый из нас должен будет подчиниться и принять ту форму государственного правления, которую этот орган установит.

**Попов.** На какой орган, по вашему мнению, могли бы быть возложена эта задача?

**Колчак.** Я считаю, что это должна быть воля Учредительного собрания или Земского собора. Мне казалось, что это неизбежно должно быть, так как правительство должно было носить временный характер, как оно заявляло.

**Попов.** Какой образ правления представлялся вам лично для вас наиболее желательным?

**Колчак.** Я затрудняюсь сказать, потому что я тогда об этом не мог еще думать. Я первый признал Временное правительство, считал, что, как временная форма, оно является при данных условиях желательным; его надо поддержать всеми силами; что всякое противодействие ему вызвало бы развал в стране, и думал, что сам народ должен установить в учредительном органе форму правления, и какую бы форму он ни выбрал, я бы подчинился. Я считал, что монархия будет, вероятно, совершенно уничтожена. Для меня было ясно, что восстановить прежнюю монархию невозможно, а новую династию в наше время уже не выбирают. Я считал, что с этим вопросом уже покончено, и думал, что, вероятно, будет установлен какой-нибудь республиканский образ правления, и этот республиканский образ правления я считал отвечающим потребностям страны.

**Алексеевский.** Не возникала ли у вас лично и вообще в офицерской среде мысль, что отречение Николая II произошло не совсем в тех формах, которые бы позволили военным людям считать себя совершенно свободными от обязательств по отношению к монархии? Я предлагаю этот вопрос потому, что император Вильгельм, когда отрекался, специальным актом освободил военных от верности присяге, данной ему. Не возникала ли у вас мысль о том, что такого рода акт должен был сделать и император Николай?

**Колчак.** Нет, об этом никогда не поднимался вопрос. Я считаю, что раз император отрекся, то этим самым он освобождает от всех обяза-

тельств, которые существовали по отношению к нему, и когда последовало отречение Михаила Александровича<sup>19</sup>, то тогда было ясно, что с монархией дело покончено. Я считал необходимым поддерживать Временное правительство совершенно независимо от того, какое оно было, так как было время войны, нужно было, чтобы власть существовала, и как военный, я считал нужным поддерживать ее всеми силами...

Прошлый раз, когда я говорил о Черном море, я упустил одно событие, которое, может быть, представляет некоторый интерес. Затем, когда вы спросили, с кем из великих князей я виделся, я упустил из виду одну подробность. Одно из событий — это был взрыв, происшедший 7-го ноября на дредноуте «Мария». Что касается свидания с великими князьями, я упустил из виду, что виделся с Николаем Николаевичем<sup>20</sup>, который был тогда главнокомандующим, в Барановичах, куда я ездил из Балтийского моря. Затем я виделся с ним перед революцией в Батуме.

**Алексеевский.** Что касается взрыва, то было бы важно, чтобы вы сказали, чему вы после расследования приписывали взрыв и последовавшую гибель броненосца.

**Колчак.** Насколько следствие могло выяснить, насколько это было ясно из всей обстановки, я считал, что злого умысла здесь не было. Подобных взрывов произошел целый ряд и за границей во время войны — в Италии, Германии, Англии. Я приписывал это тем совершенно непредусмотренным процессам в массах новых порохов, которые заготавливались во время войны. В мирное время эти пороха изготавливались не в таких количествах, поэтому была более тщательная выделка их на заводах. Во время войны, во время усиленной работы на заводах, когда вырабатывались громадные количества пороха, не было достаточного технического контроля, и в нем появлялись процессы саморазложения, которые могли вызвать взрыв. Другой причиной могла явиться какая-нибудь неосторожность, которой, впрочем, не предполагаю. Во всяком случае, никаких данных, что это был злой умысел, не было.

**Алексеевский.** Как относились вы к Николаю Николаевичу, как главнокомандующему? Считали ли вы замену его, как главнокомандующего, бывшим императором полезным для войны событием или вредным?

**Колчак.** У Николая Николаевича я был в первый раз в 1915 году, во второй год войны, когда я был послан адмиралом Эссенем для доклада ему о положении дел в Балтийском море и о возможности совместных действий с армией на берегах этого моря. Ставка была тогда в Барановичах, и я ездил туда. В Барановичах я пробыл двое-трое суток. С Николаем Николаевичем я говорил очень мало и работал

главным образом по этим вопросам в его штабе. Второй раз я виделся с ним в Батуме. Как раз первое известие о революции в Петрограде я получил в Батуме. Николай Николаевич в это время был командующим кавказской армией, и я был вызван туда для решения вопроса об устройстве портов побережья, устройства Трапезундского порта, где была главная база снабжения кавказской армии, и вопросов перевозки по Черному морю. Я тогда, как и раньше, считал Николая Николаевича самым талантливым из всех лиц императорской фамилии, поэтому считал, что раз уже назначение состоялось из императорской фамилии, то он является единственным лицом, которое действительно могло нести обязанности главнокомандующего армией, как человек, все время занимавшийся и близко знакомый с практическим делом и много работавший в этой области.

Таким образом, в этом отношении Николай Николаевич являлся единственным в императорской фамилии лицом, авторитет которого признавали и в армии, и везде. Что касается до его смены, то я всегда очень высоко ценил личность ген. Алексеева и считал его, хотя до войны мало встречался с ним, самым выдающимся из наших генералов, самым образованным, самым умным, наиболее подготовленным к широким военным задачам. Поэтому я крайне приветствовал смену Николая Николаевича и вступление государя на путь верховного командования, зная, что начальником штаба будет генерал Алексеев. Это для меня являлось гарантией успеха в ведении войны, ибо фактически начальник штаба Верховного командования является главным руководителем всех операций. Поэтому я смотрел на назначение государя, который слишком мало занимался военным делом, чтобы руководить им, только как на известное знамя, в том смысле, что верховный глава становится вождем армии. Конечно, он находился в центре управления, но фактически всем управлял Алексеев. Я считал Алексеева в этом случае выше стоящим и более полезным, чем Николай Николаевич. Насколько я помню, Алексеев последнее время был начальником штаба у Николая Николаевича.

Возвращаясь к рассказу о перевороте, должен сказать, что первые сведения о перевороте, происходящем в Петрограде, я получил, находясь в Батуме с двумя минными судами, куда пришел по вызову главнокомандующего кавказским фронтом Николая Николаевича для решения вопросов о снабжении кавказской армии морем и, в частности, вопроса об устройстве Трапезундского порта, которое мы должны были принять на себя, устройства молов и т.д. С этой целью я прибыл в конце февраля в Батум, пройдя под Анатолийским побережьем и Трапезундом. Главнокомандующий кавказской армией прибыл в Батум к этому времени с своим поездом.

В течение первого же дня он познакомил меня со своими требованиями и пожеланиями. Мы затем обсуждали вопрос, в какой мере и в какой срок мы в состоянии выполнить это. Вечером, на второй день, насколько помню, я получил шифрованную телеграмму из Севастополя от адмирала Григоровича, что в Петрограде происходит восстание войск, что существующая власть дезорганизована, и что комитет Государственной думы взял на себя функции правительства. Вот содержание этой телеграммы. Насколько помню, последние слова этой телеграммы были успокоительного характера, — «в настоящее время волнение утихает». Это была первая телеграмма, которую я получил о событиях в Петрограде. Тогда я обратился к начальнику штаба Николая Николаевича ген. Янушкевичу и спросил его, имеет ли он какие-нибудь сведения о событиях. Он сказал, что пока у него нет никаких сведений. Тогда я сказал ему: «Прошу доложить великому князю, что я должен идти в Севастополь, что я прошу меня «больше не задерживать». Янушкевич доложил великому князю, который вызвал меня и спросил телеграмму. Я показал ему телеграмму; он прочел ее, пожал плечами и сказал, что ему ничего неизвестно, но что мне известны его основные пожелания и поэтому он меня не задерживает.

Вечером в тот же день я вышел из Батума в Севастополь. По дороге я принял открытое немецкое радио из Константинополя, где была мощная радиостанция; радио рисовало потрясающую картину событий в Петрограде, говорило, что в Петрограде происходит революция, идут страшные бои и кровопролитие.

Словом, все эти сведения были сгущены и утрированы, как оказалось впоследствии. Суть, конечно, была справедлива, но форма и тон, которым излагалось все это, не соответствовали действительности. Радио было немецкое, на испорченном русском языке, с болгарскими оборотами, — очевидно, его передавал какой-нибудь болгарин специально по-русски, с тем, чтобы его приняли все станции. Когда я пришел в Севастополь, то первым вопросом, который я задал моему начальнику штаба, был вопрос: имеются ли у него какие-нибудь сведения о происходящих событиях. Он ответил мне, что никаких сведений у него нет и что он знает только, что в Петрограде происходит какое-то восстание войск, что больше ничего он не знает и никаких данных относительно этого не имеет.

Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что правительство пало, что власть перешла к Комитету Государственной думы, и что он просит меня соблюдать полное спокойствие, памятуя, что все идет к благу родины, что прежнее правительство, оказавшееся несостоятельным, будет заменено новым, и что он просит меня принять меры, чтобы не было никаких осложнений

и эксцессов. Вот приблизительное содержание. Вслед за этим был получен целый ряд радио из Константинополя, которые сообщали, что на фронте и в армии происходят бунты, что немцы победоносно подвигаются вперед, и что в Балтийском флоте происходит полное восстание и избиение офицеров. Я лично сразу же отнесся к этому константинопольскому радио, как к совершенно определенной провокации, но препятствовать передаче было совершенно невозможно, так как все радио принимаются на судах дежурными телеграфистами.

Тогда я издал приказ, в котором упомянул, что такие радио даются нашим врагом, очевидно, не для того, чтобы сделать для нас что-нибудь полезное, и поэтому я обращаюсь ко всем командам с требованием верить только мне, моим сообщениям, и что, со своей стороны, обещаю немедленно оповещать их о том, что будет мне известно. И прошу их не придавать никакого значения слухам, и что если команды будут обращаться в случае каких-либо сомнений ко мне, то я буду давать соответствующие разъяснения. Этот мой приказ сыграл большую роль, — команды не верили циркулирующим в то время слухам, оказав мне полное в этом смысле доверие. Я, со своей стороны, сделал так, как обещал: все, что я ни получал, все дальнейшие подробности о происходящих событиях, я немедленно выпускал из штаба, широко распространяя для сведения команд в городе. Таким образом, все вздорные сообщения, которые тем или иным путем получались и через неприятельское радио, и изнутри, никакого впечатления не производили, так как считались только с теми данными, которые я сообщал командам.

Затем совершенно неожиданно я получил телеграмму от Алексеева, в которой он сообщал текст телеграммы за подписью главнокомандующего и командующих армиями. Под этой телеграммой подписался Николай Николаевич, ген. Рузский<sup>21</sup>, Эверт<sup>22</sup>, сам Алексей и, кажется, генерал Щербачев<sup>23</sup>, бывший на юго-западном фронте. В этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось известие, что произошло отречение от верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре и это недоразумение разъяснилось, когда пришла телеграмма с сообщением об отказе Михаила Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. Получивши эту телеграмму, я сейчас же разослал ее по всем судам, и так как я не мог объехать все суда, то собрал команды на моем флагманском судне «Георгий Победоносец». Когда они собрались, я прочел манифест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила свое

существование и наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведем войну, и потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как и до того времени.

Затем я указал, что в такое время, как то, в котором мы находимся, правительству будет чрезвычайно тяжело, и потому я считаю необходимым оказать ему всемерную поддержку. Первый стою за это правительство и считаю необходимым в ближайшие дни присягнуть ему на службу. Вот та речь, с которой я обратился к командам. Она произвела, по-видимому, чрезвычайно благоприятное и успокоительное впечатление. Среди команд в это время, в силу предоставленных правительством прав, возникли комитеты, стали устраиваться митинги. Я бывал несколько раз на этих собраниях и разъяснял командам то, что происходит, делился с ними своими соображениями относительно того, что будет дальше, но везде неизменно указывал на одно: «Покуда война не закончена, я требую, чтобы вы выполняли свою боевую работу так же, как выполняли раньше, чтобы в этом отношении всеми, начиная с командного состава и кончая самым младшим матросом, мне была бы оказана помощь, чтобы у меня была уверенность, что каждое мое приказание, относящееся до боевых действий флота, будет немедленно выполнено». Мне это обещали; я в этом отношении не могу сделать никаких упреков никому из команды.

**Алексеевский.** Я хотел бы задать вопрос о вашем отношении к приказу № 1.

**Колчак.** Приказ № 1 был сообщен царскосельской радиостанцией за подписью Совета рабочих и солдатских депутатов. Когда на одном из митингов, на котором собралось огромное число свободных от службы команд, меня спросили, как относиться к этому приказу, я сказал, что для меня этот приказ, отданный Советом рабочих и солдатских депутатов, не является ни законом, ни актом, который следовало бы выполнять, пока он не будет санкционирован правительством, так как, в силу настоящего положения, Советы рабочих и солдатских депутатов могут собираться в любом месте, в любом городе, и почему в таком случае приказ Петроградского совета является обязательным, а необязателен приказ Совета в Одессе или в другом месте? Во всяком случае, я считаю, что этот приказ не имеет для меня никакой силы, и я буду выполнять только те приказы, которые буду получать или от правительства, или от ставки. Команды к этому отнеслись совершенно спокойно и никаких вопросов мне не задавали. Когда пришло

от Гучкова известное распоряжение, то оно было проведено в жизнь без возражений с моей стороны.

**Алексеевский.** Был ли образован общевфлотский комитет Совета матросских депутатов для всего Черноморского флота?

**Колчак.** Комитеты были образованы в Севастополе и Одессе и других портах согласно предложению правительства. Первое время отношения между мной и комитетами были таковы, что все постановления комитета были легализованы. Моим приказом было назначено время выборов лиц в эти комитеты, в состав которых входили офицеры и команда. Первое время отношения были самые нормальные. Я считал, что в переживаемый момент необходимы такие учреждения, через которые я мог бы сноситься с командами. Больше того, — я скажу даже, что вначале эти учреждения вносили известное спокойствие и порядок. Дело было поставлено таким образом, чтобы все постановления комитета мне докладывались. Ко мне являлись периодически, несколько раз в неделю, либо председатель комитета, либо его заместитель, приносили постановления комитета и спрашивали меня, с какими я согласен или какие я считаю неприменимыми в силу известных обстоятельств. Некоторое время порядок и существовал. С некоторыми постановлениями я соглашался, некоторые предлагал снова пересмотреть, а некоторые считал невозможными для осуществления. Таким образом, в этом отношении работа не вызывала никаких трений. Так продолжался первый месяц.

Затем произошло явление такого рода. Рабочие порта также образовали у себя Совет рабочих депутатов, но этот Совет не сливался с флотским комитетом и существовал независимо; слияние произошло позже, примерно в мае месяце. Нужно сказать, что рабочие севастопольского порта прямо заявили мне, что они будут поддерживать меня во всех военных работах, что они будут выполнять свои работы так же, как раньше; даже вначале заявили мне, что они не признают 8-часового рабочего дня и будут работать столько, сколько потребуется для военных надобностей флота. Такое заявление установило самое лучшее отношение с рабочими севастопольского порта; во всех тех постановлениях, которые касались известных экономических вопросов, которые я мог своею властью разрешить, я всегда шел им навстречу.

Обычно ко мне являлся Васильев, председатель Совета рабочих депутатов севастопольского порта, и мы с ним очень долго обсуждали эти вопросы. Некоторые я удовлетворял, другие направлял в дальнейшую инстанцию — ставку — и сообщал правительству.

Я был чрезвычайно обеспокоен тем обстоятельством, что в связи со всеми этими радио неприятель, предполагая, что у нас во флоте наступил полный развал, может войти в море неожиданно. Поэтому

в ближайшие дни, разъяснив командам, почему я это делаю, и указав на то, что я боюсь, что на нас совершенно неожиданно будет произведено нападение, я сделал демонстрацию и вышел с флотом в море. Я показался по обе стороны Босфора в виду берегов, чтобы противник знал, что революция — революцией, а если он попробует явиться в Черное море, то встретит там наш флот. Это имело, по-видимому, положительные результаты, потому что в связи с этим неприятель никаких активных действий не проявлял, — все оставалось так, как раньше. Так продолжалось приблизительно с неделю. Я не скрою, что в этом отношении много способствовал известному порядку и лояльности, которую проявляли Советы депутатов в отношении меня и командования, начальник штаба ударной дивизии десанта, который готовился у меня, — Верховский, который впоследствии был вызван Керенским в Москву и был затем военным министром. Он был товарищем или заместителем председателя в Совете и внес много успокоения, много порядка во всю эту работу.

Так продолжалось недели 2–3, затем начали проявляться тенденции несколько худшего порядка. Начались, прежде всего, просьбы об увольнении в отпуск. В отпуск стали проситься целыми массами, так что я не знал, что делать с этим стихийным движением, — приходилось чуть ли не выводить некоторые суда из строя. Затем начались различные несогласия с офицерами. Первое заявление мне было сделано по поводу некоторых офицеров с немецкими фамилиями, что немцев надо изъять всех полностью. На это я ответил, что у нас, в России, существует масса людей с немецкими фамилиями, которые так же, и может быть даже больше, работали для блага родины, чем люди, носящие русские фамилии, что у нас, в России, фамилия решительно ничего не значит, и удалить офицера только потому, что он носит немецкую фамилию, нет решительно никаких резонов. Я сказал, что если они имеют какие-нибудь конкретные факты, определенные поступки, то пусть доложат мне, и мы разберемся, но выгонять людей только за то, что они носят немецкую фамилию, нет решительно никаких оснований. Я указал им на того же адмирала Эссена, Ливена и др. С этим вопросом было быстро покончено, и он больше не поднимался.

Но вслед за тем начались всевозможные беспорядки с офицерами: требования об удалении их, перемещении и т. д. Может быть, некоторые резонные причины здесь и скрывались в известных столкновениях между офицерами и матросами, но большая часть была лишена решительно всякого основания. Я делал в этом отношении, что возможно, что возможно старался улаживать. Боевая деятельность флота в это время совершенно не прерывалась, — все шло, как шло раньше. Я был настолько убежден в этом, что, разрешая какой-нибудь митинг, знал,

что стоит только поднять сигнал, как все, кто нужен на судах, бросят этот митинг и явятся на корабли и пойдут куда угодно. Поэтому у меня была полная уверенность, и с этой стороны я считал себя совершенно спокойным.

Так шло все первые несколько недель, пока к нам никто извне не являлся и пока мы оставались сами с собой. Затем начался приезд всевозможных депутатов из Балтийского флота. Вместе с этим к нам хлынула масса самых подозрительных и неопределенных типов, началось ведение совершенно определенной пропаганды, направленной к развалу флота, начали обвинять офицеров в империализме, в обслуживании интересов буржуазии. Был, кажется, праздник подводного плавания; подводниками в числе других надписей на знаменах было выставлено требование Босфора и Дарданелл. Вокруг этого была страшная полемика, — говорили, что Босфор и Дарданеллы нужны только буржуазии. Вообще выставлялись те мотивы, которые выставлялись обычно при борьбе с первым правительством. Тогда уж начали появляться первые признаки развала, который быстро пошел среди команд. Менше это сказывалось на рабочих.

Нужно сказать, что рабочие Черноморского флота стояли, если можно так выразиться, выше команд в смысле дисциплины, порядка и организованности. Я прямо докладывал правительству и приписывал улаживание конфликтов спокойствию, внесенному со стороны рабочих и их органов. Когда, под влиянием пропаганды, Совет матросских депутатов поднимал вопрос о том, что надо требовать ликвидации войны и т. д., рабочие приходили, успокаивали их и вносили известное успокоение своим трезвым, спокойным отношением ко всем событиям. В половине апреля мне стало ясно, что если дело пойдет таким образом, то, несомненно, оно кончится тем же, чем и в Балтийском флоте, т. е. полным развалом и невозможностью дальше продолжать войну. В половине апреля в Одессу приезжал Гучков, который вызвал меня. В апреле месяце, приблизительно 12–15 число, я прибыл в Одессу, где Гучкова с большим подъемом демонстративно принимали, как нового военного министра. Гучков был болен. Встретившись со мной, он обратился ко мне с вопросом, как у меня дела.

Надо сказать, что в Одессе я был на судах, которые там стояли, и на них был сравнительный порядок. На вопрос Гучкова я сказал, что меня чрезвычайно заботят то направление, тот путь, по которому пошел Черноморский флот под влиянием измен, под влиянием пропаганды и появления неизвестных лиц, бороться с которыми я не могу, так как теперь под видом свободы слова эта агитация может проходить совершенно свободно, может говорить кто угодно и что угодно. Гучков на это ответил: «Я надеюсь, что вам удастся с этим справиться. У вас

до сих пор все шло настолько хорошо, что правительство выражает твердую уверенность, что вам удастся справиться с этим направлением». Я ответил, что до сих пор для того, чтобы справиться с этим, у меня оставалось только одно средство — мое личное влияние, уважение ко мне, мои личные отношения к командам и рабочим, которые, я знаю, доверяют мне и верят. Но это средство является таким, которое сегодня есть, а завтра рухнет, — и тогда у меня уже не будет никаких средств, так как я постановлением правительства в сущности лишен возможности влиять и бороться с этим, если бы я считал необходимым вступить в борьбу. Вот на чем держится пока Черноморский флот, но я считаю почву настолько шаткой, что завтра я, может быть, точки опоры и не буду иметь, и тогда я уже не в состоянии буду что-либо сделать. До этого времени мне доносили подробно о всех происходящих митингах, о ходе пропаганды, которая шла во флоте так же, как и в армии, но я должен отметить, что за весь этот период времени это меня не касалось и личности моей никто не задевал и не затрагивал.

Так как Гучков в это время был болен, то переговорить обо всем он со мной не мог и сказал мне, что в ближайшие дни вызовет меня в Петроград. Около 20-х чисел апреля я был в Петрограде по вызову князя Львова для доклада о положении вещей. Кроме того, меня вызвал и генерал Алексеев, который приехал в Петроград для обсуждения общего положения, для чего вызывались все командующие армиями. Перед уходом из Севастополя я собрал все команды, сообщил им о своем отъезде и спросил их, имеются ли у них какие-либо настоятельные нужды и требования, чтобы я мог передать их правительству. Заявлений никаких не было сделано, и я уехал.

**Алексеевский.** Я бы хотел поставить следующий вопрос: ведь за это время во флоте произошли большие события, в том числе большое возмущение матросов в Кронштадте, и результате которого погибло несколько сот офицеров, в том числе и адмирал Непенин. Какое впечатление произвели эти события на флот?

**Колчак.** Эти события были в начале марта. Непенин был убит в первые дни революции. В Черноморском флоте известия об этих событиях не произвели особого впечатления, может быть, потому, что мы получили сведения о них с большим запозданием. Сначала об этом был только ряд слухов, официально же нам об этом никто не сообщал. Я узнал только через неделю. До этого передавалось, как слух, что в Балтийском флоте беспорядки, что убит Непенин, убиты офицеры. Может быть, благодаря этому известия об этом и не произвели особого впечатления. Насколько было лояльно в начале настроение флота, можно видеть из того, что у меня весь флот принял присягу. Для этого все офицеры и судовые команды, свободные от службы, были собраны

в одно место. Я произнес торжественную присягу на верность новому правительству, которую повторил весь наличный состав.

Таким образом, около 20-х чисел апреля я приезжал в Петроград. Прежде всего я явился к Гучкову, военному и морскому министру, который все еще продолжал болеть и не выходил из своей квартиры на Мойке и даже принимал меня первый день, лежа в постели. В это время настроение в Балтийском флоте опять сгустилось, так как этот момент совпал с моментом отмены погон и перемены формы. Настроение в Балтийском флоте было таково, что, когда при свидании с офицерами я спросил их о положении вещей, они ответили мне, что ожидают на днях повторения того, что было, т.е. нового избиения офицеров. Большую роль в этом играл адмирал Максимов, деятельность которого носила почти преступный характер. Он чрезвычайно быстро перекрасился, усвоив какую-то скверную демагогическую окраску, и на этом все время вел игру, по существу не представляя собой ничего подобного раньше и будучи, наоборот, убежденным милитаристом, который говорил только о войне. В тот же момент он вел себя совершенно в демагогическом направлении.

В связи со всеми этими событиями, Максимов не был даже принят Гучковым, и вместо него представителем Балтийского флота был начальник штаба, капитан 1-го ранга Чернявский<sup>24</sup>. Максимов должен был приехать, как командующий Балтийским флотом, с докладом к Гучкову, но в виду того, что в Гельсингфорсе сгустилась атмосфера, в чем виноват был Максимов. Гучков заявил, что он не желает видеть Максимова, и тогда с докладом к нему явился начальник штаба Чернявский. Гучков сообщил мне о создавшемся положении и сказал, что в Балтийском флоте назревают новые беспорядки, что с Кронштадтом ничего нельзя сделать, что главную вину и ответственность за происходящее в Балтийском флоте он возлагает на Максимова, что эта его неприличная работа, направленная в демагогическом духе, привела и приводит к таким последствиям, которые не дают уверенности, что Балтийский флот будет существовать к весне.

С моей точки зрения, здесь, может быть, была не столько вина Максимова, сколько причина крылась в положении нашего флота, стоявшего в Ревеле и Гельсингфорсе. Я совершенно определенно считал, что главной причиной этих событий была немецкая работа. Гельсингфорс тогда буквально кишел немецкими шпионами и немецкими агентами, так как по самому положению Гельсингфорса, как финского города, контроль и наблюдение над иностранцами были страшно затруднены, ибо фактически отличить немцев от финнов или шведов почти не было возможности. Что касается того, что разница в настроении Балтийского и Черноморского флота могла находиться

в зависимости от состава офицеров, то я считаю, что это существенно-го значения не могло иметь, ибо весь состав офицеров флота выходит из одного источника.

Никаких особо привилегированных групп во флоте не существовало, так как офицерство в Балтийском и Черноморском флоте распределялось главным образом по месту рождения: южане шли на юг, те же, которые были с севера, шли в Балтику. Поэтому эта сторона никакого влияния на настроение флота иметь не могла. Разницу в настроении я приписываю, согласно тем данным, с которыми я познакомился, исключительно работе неприятеля, которому в Балтийском флоте было гораздо легче влиять на настроение команд, чем в изолированном Черноморском флоте, который почти все время плавал и находился в движении, в то время как Балтийский флот несколько месяцев находился в портах, когда устанавливалась тесная связь с берегом. Вот главная причина этого явления. Все остальные являются уже несущественными.

Затем Гучков выслушал доклад Чернявского о положении вещей в Балтике. Чернявский сообщил о выставленном командами требования, чтобы суда управлялись комитетами, о том, что командование должно быть на выборных началах, и о целом ряде требований относительно офицеров. Было выставлено требование относительно проведения полного выборного начала во флоте, чтобы офицеры могли оставаться на судах после санкционирования их командования, и целый ряд других требований, о которых Чернявский подробно доложил. Я, в свою очередь, обрисовал то, что делается у меня на Черном море. Тогда Гучков сказал мне: «Я не вижу другого выхода, как назначить вас командовать Балтийским флотом». Я отметил: «Если прикажете, то я сейчас же поеду в Гельсингфорс и подниму свой флаг, но, повторяю, что я считаю, что у меня дело закончится тем же самым, что у меня в Черном море события происходят с некоторым запозданием, но я глубоко убежден, что та система, которая установилась по отношению к нашей вооруженной силе, и те реформы, которые теперь проводятся, неизбежно и неуклонно приведут к развалу нашей вооруженной силы и вызовут те же самые явления, как и в Балтийском флоте». Я указал, что у меня во флоте вовсе не так благополучно, как кажется.

Надо сказать, что перед этим правительство прислало мне благодарность и выражение доверия за мою работу в Черноморском флоте. Я указал, что дело обстоит не так благополучно, как кажется со стороны, и просто лишь в силу изолированного положения флота, в силу ряда причин, которых не было в Балтийском флоте, события протекают с задержкой, но я глубоко уверен, что кончится тем же. Поэтому я сказал Гучкову: «Если прикажете, я сейчас же вступлю в командование Балтийским флотом, но вряд ли я смогу помочь и сделать что-нибудь».

Гучков сказал, что он подумает еще раз, и спросил меня: «Ведь вы не откажетесь принять это назначение?». Я сказал, что привык исполнять приказания, и что, если прикажут, я сейчас же поеду в Гельсингфорс. На этом кончилось мое первое свидание с Гучковым.

Тогда же я получил предложение приехать к Родзянко к завтраку. В разговоре Родзянко высказал оптимистический взгляд относительно положения в Черном море. Я сказал ему, что у меня идет такой же внутренний развал, как и везде. Пока мне удастся сдерживать это движение, действуя на остатки благоразумия, но что в настоящее время уже есть признаки, что это благоразумие исчезает, и я нахожусь накануне такого же взрыва, который был в Балтийском флоте, и что совершенно не верю в благополучие, которое чисто внешнего свойства. Родзянко задал вопрос: «Что же делать, по вашему мнению?». Я сказал, что единственный выход вижу в борьбе с тем, что нас разлагает: с пропагандой неизвестных безответственных типов, совершенно неизвестно откуда появившихся, которые ведут открытую работу против войны и против правительства. Пока меня еще не тронули, и я пользуюсь известным влиянием, которое у меня еще осталось, но, вероятно, на днях и это кончится. Я сказал, что я считаю, что бороться можно только этим путем, но что я положительно не знаю, к кому мне обратиться, кто мог бы помочь мне в этом деле. Родзянко спросил меня, обращался ли я к каким-нибудь политическим партиям, чтобы они помогли мне в этом деле. Я сказал, что пока еще не обращался. Родзянко предложил мне поехать к Плеханову и поговорить с ним; может быть, он даст совет, даст указания, как лучше поступить в этом деле.

Я поехал к Плеханову, изложил ему создавшееся положение и сказал, что надо бороться с совершенно открытой и явной работой разложения, которая ведется, и что поэтому я обращаюсь к нему, как главе или лицу известному с.-д. партии, с просьбой помочь мне, приславши своих работников, которые могли бы бороться с этой пропагандой разложения, так как другого способа бороться я не вижу в силу создавшегося положения, когда под видом свободы слова проводится все, что угодно. Насильственными же мерами прекратить, — в силу постановления правительства, — я этого не могу, и, следовательно, остается только этот путь для борьбы с пропагандой.

Плеханов сказал мне: «Конечно, в вашем положении, я считаю этот способ единственным, но он является в данном случае ненадежным». Во всяком случае, Плеханов обещал мне содействие в этом направлении, причем указал, что правительство не управляет событиями, которые оказались сильнее его. «Вы знаете, — спросил меня он, — что сегодня должно быть выступление войск, что сегодня, около 3-х часов, должны выступить войска с требованием смены части правительства?» Это бы-

ло 21–22 апреля. Как раз в этот день, около 4-х часов, было назначено заседание правительства на квартире Гучкова, на Мойке. Плеханов заметил, что это выступление будет пробой правительства, — раз правительство не будет в состоянии справиться с выступлением против него, то какое же это правительство? По всей вероятности, оно должно будет пасть. «Я лично думаю, — сказал Плеханов, — что все идет не так, как мы хотели или предполагали; события принимают стихийный характер, и в этом случае отдельные лица или отдельные группы могут только до известной степени задерживать или способствовать течению, но я сомневаюсь, чтобы мы могли в ближайшие дни что-нибудь сделать». Вот суть его отношения.

Тогда все это выступление базировалось главным образом на почве империалистической политики правительства, — стремлении получить Босфор и Дарданеллы, — что вызвало требование смены Гучкова и Милюкова, как носителей этой тенденции. Плеханов в разговоре со мной сказал такую фразу: «Отказаться от Дарданелл и Босфора — все равно, что жить с горлом, зажатым чужими руками. Я считаю, что без этого Россия никогда не в состоянии будет жить так, как она хотела бы».

От Плеханова я отправился прямо на совещание совета министров, которое происходило на Мойке, в квартире Гучкова. Когда я проезжал по Невскому и Морской, то мне начали попадаться отдельные воинские части, — там был Финляндский полк и, насколько помню, Измайловский. Вся эта демонстрация стекалась на Мариинскую площадь, перед Мариинским дворцом, где обычно заседало правительство. В данном же случае демонстранты сделали ошибку, не зная, что из-за болезни Гучкова правительство заседает не в Мариинском дворце, а на Мойке. Поэтому демонстрация происходила перед пустым фактически Мариинским дворцом. У Гучкова, в присутствии всего правительства, заседавшего под председательством князя Львова, я подробно доложил все, о чем уже упоминал раньше: о положении на Черном море и о том, к чему это, по моему мнению, должно привести. В это время получено было известие о демонстрации и о требованиях убрать Гучкова и Милюкова из состава правительства. Как резюме этих разговоров, было сказано как будто Милюковым: «Мы можем обсуждать здесь и говорить о чем угодно, а может быть, через несколько времени мы все *in corpore* будем сидеть в Крестах или в крепости. Какую же ценность имеют при данном положении суждения?» Конечно, с разумностью такого взгляда нельзя было не согласиться.

Как раз перед концом заседания прибыл ген. Корнилов, кажется, из Царского Села (я его в первый раз тогда видел). Корнилов сказал, что в городе происходит вооруженная демонстрация войск против

правительства, что он располагает достаточными силами, чтобы прекратить это выступление, и в случае надобности, если бы произошло вооруженное столкновение, у него есть уверенность в возможности подавления этого движения. Поэтому он просил, чтобы правительство санкционировало это и дало возможность немедленно начать действовать. Это послужило поводом к обмену мнениями и дебатам, причем особенно против восставали Львов и Керенский, который заявил: «Наша сила заключается в моральном воздействии, в моральном влиянии, и применить вооруженную силу значило бы вступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным». На этом заседание закончилось. Но Керенский долго еще беседовал с Корниловым. Затем Керенский обратился ко мне и спросил: «Как у вас, в Черном море?» Я сказал, что дело идет все хуже и хуже, сообщил ему, что я был у Плеханова, просил его помощи, и что, со своей стороны, я прошу его, так как он имеет связь с политическими партиями, — с партией с.-р. и другими, — прислать ко мне опытных руководителей митингов, опытных агитаторов, которые могли бы разбивать тех людей, которые у меня ведут разлагающую флот пропаганду. Керенский обещал мне, что пришлет. На этом совещание закончилось.

Вечером я уехал в Псков, где в это время происходил совет командующих армиями, где был Алексеев, Рузский и целый ряд представителей армий — командующих армиями или начальников штаба всего фронта. В Пскове были выслушаны доклады отдельных начальников. Картина, выяснившаяся при этом, превзошла все мои худшие ожидания. Я совершенно не ожидал, что в армии происходили события, о которых открыто докладывали представители командного состава, — братание с немцами, продажа оружия, начавшийся стихийный уход с фронта. Словом, в армии происходил полный развал. Никаких мер, чтобы остановить этот развал и выйти из затруднительного положения, в сущности, никто не мог предложить. Что касается того, что, может быть, возникла мысль, что прекращение войны и есть этот исход, то должен сказать, что общее мнение было таково, что войну продолжать во что бы то ни стало нужно. Отдельных мнений в пользу прекращения войны я не помню, и наоборот, — общее мнение было таково, что войну прекратить мы не имеем возможности. Таким образом, совещание только констатировало факт развала в армии, не выработав никаких мер к борьбе с этим явлением.

**Алексеевский.** Ведь ген. Рузский после этого ушел в отставку. Не был ли его уход продиктован тем обстоятельством, что он склонялся к мысли, что войну мы не можем вести дальше, и остается только заключить мир? Впоследствии эта мысль была определенно формулирована Духониным<sup>25</sup>.

**Колчак.** В такой форме это не высказывалось. Говорилось только, что при таких условиях вести войну нельзя, но все же продолжать необходимо. У всех был расчет на то, что революция вызовет подъем в войсках, вызовет чувство патриотизма, желание победы, желание закрепить совершившийся переворот победой на театре военных действий. Я помню, что это было общее мнение людей, знакомых с историей. Взять хотя бы Французскую революцию, которая все победила коалицией. Между тем потом выяснилось, что все старались использовать революцию для своих личных целей. Во время же совещания в Пскове общая точка зрения была такая, что продолжать войну необходимо, что мы связаны такими обязательствами с союзниками, что выход наш из войны вызовет такие последствия, что при этих условиях заключение мира с Германией будет означать полную победу Германии, которая немедленно разобьет союзников и затем продиктует нам свою волю в такой форме, которая вряд ли явится приемлемой.

**Алексеевский.** Было ли вам известно тогда или после, что существует соглашение, заключенное 9-го сентября 1914 года между Россией, Францией и Англией, относительно того, что при известных условиях каждое из этих государств, несмотря на то, что в открытом тексте сказано, что никто не может заключить отдельного мира, может заключить отдельный мир? В отношении России этим условием была революция.

**Колчак.** Я в первый раз слышу об этом.

**Алексеевский.** Слышали ли вы, что товарищ министра иностранных дел Нератов<sup>26</sup> перед большевистским переворотом увез с собой некоторые документы министерства иностранных дел? Он оставался в министерстве при первом правительстве и был главной работающей силой в министерстве иностранных дел, потому что ни Милюков, ни в особенности Терещенко<sup>27</sup> не были достаточно подготовлены для руководства ведомствами иностранных дел. Документ, о котором я говорю, Комиссия в руках не имела, но я слышал от лица, заслуживающего доверия, состоявшего в министерстве иностранных дел, что такой документ существует. В отношении Франции таким обстоятельством, разрешавшим заключение отдельного мира, являлось взятие Парижа; в отношении Англии — высадка германского десанта на островах, и у нас — революция.

**Колчак.** Я с Нератовым не встречался и о существовании такого соглашения не слыхал. После совещания в Пскове было еще одно совещание у Гучкова, где рассматривался документ, известный под именем «Декларация прав солдата». Я вернулся в Петроград вместе с Алексеевым по предложению Гучкова, — собраться у него на квартире для обсуждения вопроса о документе, известном под именем «Декларация прав солдата», под председательством Гучкова. Эта декларация вырабатывалась

особой комиссией при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов из представителей армии и флота. Доклад по этому поводу делал помощник военного министра, кажется, ген. Маниковский<sup>28</sup>. При начале чтения декларации Маниковский сказал: «Я должен доложить, что с выработанным в настоящее время такого рода документом, который предполагается провести в жизнь, я не согласен по существу, но я хотел бы, чтобы каждый из присутствующих высказал свои замечания, и, может быть, нам удастся внести некоторые поправки и исправления».

Тогда Алексеев, который сидел по правую руку Гучкова, когда началось чтение, встал и сказал: «Я как главнокомандующий не могу обсуждать вопроса о том, как окончательно развалить ту армию, которой я командую, поэтому обсуждать вопрос я не буду и от дальнейшего участия отказываюсь». После этого все присутствующие заявили, что присоединяются к мнению командующего и считают бесполезным обсуждать этот документ; раз решено его ввести, пусть вводят, но рассматривать его они не будут. На этом чтение документа и закончилось, ген. Маниковский говорил: «Я решил сделать доклад только в надежде, что удастся внести некоторые поправки, удастся смягчить то, что здесь сказано, но раз все считают излишним обсуждать, то больше ничего не могу сделать». Тогда все встали, распрощались и ушли. Я остался еще несколько минут с Гучковым и спросил его, как он решил, должен ли я перейти в Балтику, или вернуться в Черное море. Гучков подумал и сказал: «В сущности это все равно, в таком случае возвращайтесь в Черное море». На этом кончилось мое пребывание в Петрограде, и я уехал в Черное море.

**Алексеевский.** В эту поездку в Петроград вы видели всех представителей Временного правительства? Комиссия хотела бы знать ваше отношение к этому правительству с точки зрения интересов военных и морских, в частности, наиболее видным его представителям — Львову, Гучкову, Керенскому. Какие недостатки и достоинства видели вы в этом правительстве?

**Колчак.** За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине. Никого из них я не мог заподозрить, чтобы они преследовали личные или корыстные цели. Они искренне хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву, — на какое-то нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который выдвигается и вполне определенно, — Совет солдатских и рабочих депутатов — ведет совершенно открыто разрушительную работу в армии и вообще в отношении вооруженной силы, открыто выставляет лозунги прекращения

войны с Германией и т. д. Правительство бороться с ним совершенно бессильно, хотя бы даже оно располагало силами, так как оно принципиально применять эту силу не хочет, а рассчитывает на возможность чисто морального воздействия и держится методов управления, основанных на чисто моральном воздействии. Такое впечатление на меня произвело правительство, по-видимому, такой точки зрения держались все члены правительства, так как разногласий у них не было. Гучков, может быть, и понимал положение, но на меня он произвел впечатление человека, так далеко зашедшего по пути компромиссов, что для него не оставалось другого пути. Он сам говорил, что он больше работать не может, и, по-видимому, ясно видел, что должен уйти.

**Алексеевский.** Гучков держался того же мнения, как и выдающиеся генералы, что больше работать нельзя?

**Колчак.** Да, к этому времени все пришли к тому же убеждению.

**Алексеевский.** Но это не есть исход — уйти ответственным людям и оставить на второстепенных персонажей ведение дела.

**Колчак.** Никто из нас ни от чего не отказывался, но мы ясно видели, что при такой обстановке мы ничего сделать не можем. Если бы нашлись люди, которые могли бы взять это дело, то пусть бы они брали его, но дело в том, что революция не выдвинула таких людей, — их не было. Тем не менее мысли кончить войну у меня никогда не возникало. Я считал, что лучше идти солдатом и выполнить ту роль, которую я найду возможной при данных условиях, но ни у кого из нас мысли об окончании войны не было.

**Алексеевский.** Что вы думали тогда и впоследствии о предложении Корнилова, сделанном на квартире Гучкова, что он обладает достаточной силой, чтобы поставить барьер этому движению, ведущему к прекращению войны? Действительно ли он обладал достаточными силами?

**Колчак.** Да, я считаю, что он обладал достаточными силами, иначе он не сделал бы этого предложения. Это человек, отдающий себе отчет в окружающей обстановке, и, конечно, в то время это можно было еще сделать.

**Алексеевский.** Вы как будто сказали, что, с другой стороны, вы просили указаний для себя. Если бы были даны известные директивы ответственными руководителями, чтобы поставить барьер этому движению физическими репрессиями, считаете ли вы, что это было бы возможно у вас, на Черном море?

**Колчак.** Да, я считаю, что в то время это было возможно и у меня. В то время у правительства было достаточно дисциплинированных сил, чтобы подавить это движение. Это было мнение среди военных, которое было, в частности, высказано Корниловым; разделял его и я, так как считал, что в то время было вполне возможно.

**Алексеевский.** Происшедшие к началу мая перемены в составе правительства, в результате чего было исключение из рядов его представителей буржуазии в лице Гучкова и Милюкова, не вызвали ли надежды на улучшение положения в смысле направления правительственной политики?

**Колчак.** Считали, что это есть ухудшение, что дальше все пойдет хуже и хуже.

**Алексеевский.** В прошлый раз, адмирал, мы остановились на вашем возвращении в Черное море после совещания в Пскове.

**Колчак.** По возвращении моем в Черное море из Пскова я был в Севастополе и должен сказать, что, находясь там, я был не в курсе дел в смысле положения вещей на фронте, и не представлял себе такого потрясающего развала нашего фронта. Для меня стало ясно, что войну, в сущности говоря, надо считать проигранной, и я положительно затруднялся решить, что предпринять для того, чтобы продолжать эту войну. По приезде в Черное море, ко мне явилась депутация от солдат Царскосельского гарнизона, во главе которой стоял унтер-офицер Киселев<sup>29</sup>, который командовал сербской дружиной. Он был сначала на фронте, а потом в броневой автомобильной роте. Он первый выступил в первых числах марта, после представления депутации остался у меня. Это был человек глубоко убежденный в необходимости переворота; он первый выступил и говорил, что он действительно видит теперь, что путь, по которому пошла вся русская революция, ведет нас к гибели. «Я, — говорил он, — был убежденный революционер, сам первый выступил, был ранен во время этого выступления, а теперь я вижу, что фронта у нас почти нет». Обсудивши с ним вместе этот вопрос, я ему сказал, что я тоже пришел к тому же убеждению. По его мнению, единственное средство, может быть, было бы, если бы я открыто заявил здесь, в Севастополе, о том, что такое положение погубит революцию и всю нашу родину.

Тогда я решил поступить таким образом: я собрал все свободные команды в нескольких местах и, как я это делал раньше, совершенно откровенно высказал все то, что я узнал в Петрограде, обрисовал им положение вещей, указал на бессилие правительства, на то, что фронт у нас в настоящее время разваливается совершенно; удастся ли его восстановить, — неизвестно, и что оказать сопротивление неприятелю невозможно. Я главным образом базировался на следующем положении: для меня, как человека военного и все время занятого исключительно только своими военными делами, казалось необходимым рассматривать происходящую у нас революцию с точки зрения войны. Для меня казалось совершенно ясным, что в такой громадной войне, в какой мы участвуем, проигрыш этой войны будет проигрышем и революции, и всего того, что связано с понятием нашей родины — России.

Я считал, что проигрыш войны обречет нас на невероятную вековую зависимость от Германии, которая к славянству относится так, что ожидать хорошего от такой зависимости, конечно, не приходилось.

Суть моего сообщения сводилась, во-первых, к обрисовке полной картины, к характеристике Балтийского флота, к характеристике различных частей фронта. Я не считал нужным ничего скрывать, — изложил все то, что я узнал на псковском совете; обрисовал события, которые были в Петрограде; указал, что теперь начинается движение под лозунгом прекращения войны во что бы то ни стало. Тогда последствия от этого произойдут двоякие: во-первых, зависимость от Германии, так как мы дадим ей возможность, заключивши с нею какое-нибудь соглашение и выведя себя из театра военных действий, разбить союзников на западном фронте. Германия победит, — и мы попадем в полную от нее зависимость. Германия смотрит на нас, как на навоз для удобрения германских полей, и будет соответствующим образом третировать нас и в будущем. Если мы выйдем из концерта держав согласия в этой войне и, допустим даже, что Германия будет побеждена, что ей не удастся победа над союзниками, то тогда нам придется иметь дело с союзниками.

Я указал, что сентиментальности в политике не существует, что в политике существуют чисто примитивные соображения о выходе из того или иного положения. Указал, что с союзниками мы связаны обязательствами, что союзники потратили колоссальные средства для оказания нам помощи, и что никогда раньше, до 1917-го года, мы не были так сильны в смысле снаряжения и так подготовлены для окончания войны, что если мы сейчас бросим свое участие и будем в этом направлении что-нибудь делать, то, несомненно, вооружим против себя союзников, счет которых будет чрезвычайно тяжелым. Наша зависимость будет уже не от одной Германии, а, может быть, от целого ряда государств. Чем же расплачиваться придется нам? — говорил я. Ни для кого не тайна, что мы находимся в самом бедственном положении, и придется расплачиваться натурой — территорией и нашими природными богатствами. И вот наступает, в конце концов, призрак раздела нашего; мы потеряем свою политическую самостоятельность, потеряем свои окраины, в конце концов, обратимся в так называемую «Московию» — центральное государство, которое заставят делать то, что им угодно, но то, что обуславливало нашу политическую самостоятельность и свободу, — все будет у нас отнято. Суть сводилась к этому.

Затем я указал, что союзники, действительно, в это время еще колебались, еще недостаточно ясно учитывали, какие последствия дадут у нас этот переворот и революция, как они отразятся на войне, и они решили в наступление для того, чтобы дать возможность оправиться нашему фронту, т.е. оттянуть немцев на себя. Союзники выполнили

это апрельское наступление. Я указал на то, что прежде всего здесь мы связаны с союзниками не только какими-нибудь обязательствами, а связаны с ними кровью, — и союзники нам не простят. Я указал на те перспективы, которые казались мне несомненными. И вот мое спокойное, объективное и совершенно правдивое, без каких-нибудь недомолвок, сообщение произвело громадное впечатление на всех присутствующих. Ко мне начали обращаться команды с тем, что команды желают сами отправиться и, если надо, послать свои делегации на фронт с призывом продолжать войну во что бы то ни стало, что подобное положение является позорным, что мы прежде всего должны закончить войну, что эту войну можно закончить.

Результатом моих сообщений явилась так называемая черноморская делегация, которая в мае месяце выехала на фронт и принимала там весьма деятельное участие. Я знаю, что многие деятели не вернулись с фронта, потому что активно старались бывать в передовой линии, — показывать пример. Эта черноморская делегация, которая поехала тогда по России, сейчас же вызвала, через неделю после своего отъезда, реакцию, которая заключалась в той же самой пропаганде, которая получила характер пропаганды, направленной персонально против меня. Там не выставлялось лозунгов политического характера, — пропаганда эта велась на чрезвычайно примитивной почве. Разбить этих противников было бы, в конце концов, нетрудно, — но она свое дело делала. Суть сводилась главным образом, насколько мне помнится, к тому, что я являюсь крупным собственником на юге России, что мое постоянное упорство и настойчивость в продолжении этой войны и освобождении свободного выхода из пролива в Средиземное море объясняется тем, что я являюсь крупным земельным собственником и для меня выгодно вывозить хлеб на тех условиях, которые представляют из себя эти открытые и свободные проливы, — такие заявления делались на митингах на Черном море.

В Севастополе затем уже появились признаки довольно скверного свойства: около половины мая один из миноносцев, «Жаркий», который должен был идти к неприятельским берегам с каким-то поручением, кажется, постановки мин, отказался выйти. Это был первый случай отказа корабля исполнить боевое приказание, потому что в начале мая я выходил в море, и никаких вопросов по этому поводу не возникало. Затем одновременно с этим потребовали смены командира миноносца, старшего лейтенанта Веселаго. Этот Веселаго был отличный командир, прекрасно жил с командой. Команда его сама выбирала на какие-то выборные должности, от чего он отказывался. И тут совершенно неожиданно команда потребовала его смены. Мотивы сводились к тому, что Веселаго якобы слишком смело ставит миноносец в опасное поло-

жение, — вот единственный мотив, который могла команда выставить против своего командира. Я сказал, что я его не сменю, а миноносец я вывожу из кампании. Приказал ему спустить флаг и прекратить свою деятельность, т. е. окончить плавание. Так он и остался.

Вместе с тем я послал своего флаг-офицера в Совет матросских и солдатских депутатов. Совет в это время был тоже бессилён что-нибудь сделать, хотя он совершенно разделял мою точку зрения. Он послал своих представителей, но в это время уже поднялась против того состава Совета целая кампания. Этот случай был сам по себе не особенно потрясающим и катастрофическим, но он для меня был весьма симптоматичен. Выяснилось, что я ничего сделать не могу, и сам Совет бессилён что-нибудь предпринять, кроме разговоров. Веселаго заявил, что он при таких условиях просто не считает возможным оставаться, и просил его списать. Пришлось удовлетворить его просьбу и убрать его с миноносца. Вслед затем такой же случай произошёл на другом миноносце, «Новик»<sup>30</sup>, по совершенно нелепому поводу. Я поехал туда уже сам, и после переговоров с командой этот инцидент был улажен, так как я им указал на то, что никаких оснований для подобных выступлений нет.

Затем произошло ещё одно весьма типичное явление. Какая-то комиссия, — я точно не знаю, в каких отношениях она стояла к Совету, — обнаружила какие-то злоупотребления, — по крайней мере, так было доложено — в порту, по поводу каких-то кож, которые там должны быть сдаваемы, для того, чтобы эти кожи выделывались. Это кожи со скота, который убивался для прокормления Черноморского флота. Они должны быть сдаваемы на кожевенный завод. Возникло обвинение против одного помощника заведующего портом. Он был генерал-майор по адмиралтейству, не помню его фамилии<sup>31</sup>. Обвинялся он в том, что эти кожи не сдаются куда следует; что они частным образом куда-то продаются. Комиссия постановила требовать немедленного ареста этого помощника. Когда следственная комиссия при Совете ко мне явилась (она и раньше приходила ко мне и делала различные заявления по поводу непорядков, — я клал свою резолюцию, направлял дело к прокурору, производилось следствие и представлялось Совету, в каком положении дело находится), я вышел к ней и сказал: «Прошу дать мне дело, я сейчас вызову главного военного прокурора и поручу произвести соответствующее расследование по этому делу». Тогда комиссия мне заявила, что она требует его ареста. Я сказал, что арест будет произведён тем лицом, которое будет производить следствие. Когда оно обнаружит признаки преступления, то от этого лица и будет зависеть, какие меры пресечения следует применить в отношении лица, на которое падает обвинение. Я не знаю, виновен ли он, или кто-нибудь другой, так как

из их доклада этого совершенно не видно. Поэтому я сказал, что приказа об аресте не дам, покуда я не получу доклада от главного военного прокурора, или ничего не буду делать, а передам заявление туда. На этом мы разошлись. Затем я совершенно случайно узнал, что они арестовали этого офицера. Я потребовал его немедленного освобождения и сказал, что я не давал комиссии права производить аресты, что этот арест должен быть произведен только судебными властями. Это как раз совпало с переменой личного состава первого Совета. Были произведены новые выборы, и в этот Совет прошло значительное количество, я прямо это признаю, солдат севастопольского гарнизона. Это был элемент уже совершенно другого порядка. Он был там и раньше, но тогда он был в меньшинстве, — там преобладали морские команды.

**Алексеевский.** А в то время были у вас политические комиссары?

**Колчак.** Нет, и не было во все время моего командования флотом. Эти обстоятельства, в связи с тем, что результатов практических не было, — я знаю, там были некоторые лица, которые выступали на митингах от партии с.-р., от партии с.-д., но все это имело чрезвычайно малое влияние, — привели к тому, что дело шло хуже и хуже, и эти события заставили меня задуматься. Состав Совета изменился. Верховский оттуда ушел; часть людей, с которыми я работал в согласии, ушли и заменились другими, и таким образом порвалась всякая связь у меня с этим Советом. Я перестал бывать там, они перестали приходить ко мне. Взвесивши все эти обстоятельства, я признал по совести, что дальнейшее мое командование флотом является совершенно ненужным и что я могу по совести сказать, что я больше не нужен совершенно.

**Попов.** Какого партийного состава был новый Совет?

**Колчак.** Тогда было разрешено и офицерам, и командам записываться в какие угодно партии; партийность состава Совета я боюсь характеризовать, но общее течение уже складывалось в пользу большевистской партии. Тогда еще официально такой партии большевиков не существовало, но настроение носило такой характер. Все же я затрудняюсь назвать этот Совет большевистским, так как он не носил еще определенной окраски большевизма. Там было выборное начало для офицеров, контроль над действиями командования, т.е. приблизительно та же программа, какая была и в Балтийском флоте. Надо сказать, что тогда в Черноморском флоте не было такого термина «большевик», потому я и не называю его так. Большинство, насколько мне помнится, записывалось в партию с.-д., меньшая часть представляла из себя партию с.-р.

И вот, в конце концов, я решил просить освободить меня от командования по следующим мотивам: общее положение, полное бессилие что-нибудь сделать и совершенная моя бесполезность в той роли, в какой я нахожусь. Управлять флотом так, как я понимал, я считал

невозможным и считал нелепым занимать место. Поэтому я обратился к Керенскому с просьбой освободить меня от командования. На это Керенский мне ответил, что он считает это нежелательным и просит меня подождать его приезда в Севастополь, и надеется, что ему удастся устранить и уладить те трения, которые возникли в последнее время. Я согласился и второй раз уже не настаивал. В сущности говоря, в мае месяце быстро произошел общий и внутренний развал во Флоте. Державшиеся до того времени рабочие порта, которые все время вели все работы по исправлению, ремонту и т. д., уже к тому времени стали разваливаться. Стали выставляться требования только экономического характера, а производительность все падала и падала с каждым днем, и каждое выведенное из строя судно уже оставалось в бездействии, потому что все работы в порту стали падать. Тем не менее я должен отметить, что известные части команды совершенно не разделяли нового настроения и сохраняли свои понятия о долге службы.

Я упоминал, что в самые печальный период уже окончательного развала флота мне нужно было, в виду полученных сведений о новых подводных лодках, усилить заграждения Босфора и в самом Босфоре поставить заграждения. Для этого нужно было сделать очень опасное и рискованное предприятие и войти в Босфор на катерах, с баркасами, нагруженными минами. Это предприятие носило характер чрезвычайной опасности и риска, и потому я вызвал охотников. Нашлось столько, что они превышали то число, которое мне нужно было для постановки этих заграждений. Это было в мае. Операция эта была выполнена, но с одним печальным происшествием, — ночью на одном из баркасов взорвалась мина. Произошло это в Босфоре, катера заметили, произошла стрельба. Было много раненых, но большинство людей успели вынести и перенести на другой катер, — это было серьезное предприятие. Я это привожу как характеристику того, что был известный процент людей, которые шли на это, а наряду с этим другое явление — инцидент с миноносцем «Жаркий».

К событиям этого времени относится приезд Керенского в Одессу. Я получил приказание прибыть в Одессу с миноносцем, с тем, что Керенский из Одессы пойдет в Севастополь на миноносце. Это было около 20-х чисел мая. Я к назначенному времени вышел с отрядом из 4-х миноносцев в Одессу и присутствовал там при торжествах, которые были устроены в честь Керенского и которые носили такой же характер, как и встреча Гучкова в Одессе месяц тому назад. Затем вместе с Керенским я перешел на свой миноносец, и мы отправились в Севастополь. Во время перехода я долго и подробно, почти целую ночь, рассказывал Керенскому о тех обстоятельствах, которые произошли в Черном море. Я указал, что считаю совершенно невозможным продолжать свою деятельность,

потому что я коренным образом расхожусь в своих взглядах на командование, на дисциплину во флоте, которая теперь проводится, и что я неспособен работать в этой обстановке.

Я не отказываюсь по существу от какой бы то ни было работы и предоставляю себя в полное распоряжение правительства, но я считаю совершенно бесполезным, может быть, даже вредным для дела, если я останусь. Я сказал ему: «Я не понимаю, чего вы хотите для республики? Во время войны нужна вооруженная сила; я приложил все усилия, чтобы ее удержать, но раз это выходит из вашего плана и это не нужно, зачем я буду продолжать работать?» Он на это ответил: «Я считаю, наоборот, что правительство это, как и правительство прежнего состава, считает, что вы должны оставаться, что теперешнее правительство признательно вам за сохранение Черноморского флота о его боевое состояние, но вы понимаете, что мы переживаем время брожения: тут надо считаться с возможностью эксцессов».

Керенский, как и всегда, как-то необыкновенно верил во всемогущество слова, которое, в сущности говоря, за эти два-три месяца всем надоело, и общее впечатление было таково, что всякая речь и обращения уже утратили смысл и значение, но он верил в силу слова. Я доказывал ему, что военная дисциплина есть только одна, что волей-неволей к ней придется вернуться и ему; что так называемой революционной дисциплины не существует, и та партийная дисциплина, которую он приводит, это — дело совершенно другое, потому что единственная дисциплина в армии, в сущности говоря, та, которая выражается в известных внешних формах дисциплинарного устава, которая характеризует взаимоотношение начальника и подчиненного; она одна и та же во всех решительно армиях и флотах всего мира, и какой бы ни взяли дисциплинарный устав, — наш или американский, — мы найдем там одно и то же, никакой разницы по существу нет, есть разница лишь в деталях. То же, что он говорил о примере партийной дисциплины, это есть дисциплина, которая создается не каким-нибудь регламентом, а воспитанием и развитием в себе чувства долга, чувства обязательств известных по отношению к родине, и эта дисциплина может быть у меня, может быть у него, может быть у отдельных лиц, — но в массе такой дисциплины не существует, и опираться на такую дисциплину для управления массами нельзя.

Так мы ни до чего договориться не могли, потому что стояли на совершенно исключаяющих друг друга точках зрения. По приезде в Севастополь Керенский объезжал суда; я был все время с ним. Он был встречен весьма торжественно, говорил речи, но на меня производило впечатление, что он на команды никакого впечатления не производит. Казалось, что все идет хорошо. «Вот видите, адмирал, все улажено,

мало ли что, — теперь приходится смотреть сквозь пальцы на многие вещи; я уверен, что у вас не повторятся события. Команды меня уверяли, что они будут исполнять свой долг...» После таких переговоров, он, в конце концов, еще раз обратился ко мне с просьбой от имени правительства — оставаться. «Сейчас вас заменить нежелательно, я прошу, чтобы вы продолжали оставаться». Я сказал: «Хорошо, останусь».

После его отъезда положение несколько не изменилось. Все продолжалось в том же духе, в каком все это шло раньше, и у меня было общее впечатление такое, что его приезд никаких результатов не дал и никакого серьезного впечатления ни в командах, ни в гарнизоне не оставил, хотя он был принят хорошо. Я на некоторое время уходил из Севастополя, ездил в Николаев на заводы посмотреть строящиеся там корабли. Там я узнал о положении вещей на судостроительных заводах. Все в сущности шло к полной остановке, к полному прекращению работы. Тем не менее я все-таки продолжал делать то, что делал раньше, — продолжал выходить в море, вести работу по постановке заграждений, сетей против подводных лодок, по дозорной службе, конвоированию. Поскольку это было возможно, постольку это выполнялось. Затем в июне месяце начали происходить события уже более серьезного характера. Под влиянием агитации среди команд явилось совершенно неожиданное событие на почве вражды с офицерским составом, — до того времени таких вопросов не существовало. Начали уверять, что офицеры замышляют какую-то контрреволюцию. Никакая контрреволюция со стороны офицерства, разделенного по судам, была невыполнима.

Офицерские союзы существовали совершенно открыто, на них могли присутствовать команды и потому, конечно, вопрос о какой-нибудь контрреволюции совершенно исключался, а наоборот, — все усилия со стороны командного состава и офицерства заключались в том, чтобы поддерживать правительство и выполнять свой долг по отношению к службе. Это было неожиданно для меня. Было совершенно ясно, что это — работа провокационного характера, которая, конечно, клонится, в конце концов, к тем событиям, которые имели место в Балтийском море. Я сообщал об этом все время правительству, доносил ему о всех тех событиях и настроениях, которые у меня были в Черном море, и предупреждал, что дело становится все хуже и хуже, и что я считаю безнадежным положение дела в дальнейшем. Но так как я обещал оставаться до последней возможности, то я и не поднимал вопроса о своей смене, так как считал, что она произойдет и без согласия правительства. Я очень часто выступал перед командами, постоянно приезжал на собрания, и обыкновенно по заведенному ранее порядку меня извещали, что в таком-то часу, в таком-то месте будет собрание, чтобы я мог взять

в учет, в случае тревоги, готовность флота, чтобы потребовать команду, и все это шло до сих пор в совершенном согласии. Теперь же все пошло самочинным порядком. Я получал известия стороной, не имея никакой связи ни с какими представительными командными органами.

Наконец, случилась весьма характерная вещь. Киселев, оставаясь все время в Севастополе, где проживала его семья — отец, мать, сестра и брат, — принимал очень большое участие и помогал мне. Он очень часто выступал, прекрасно говорил, и ему удавалось совершенно срывать ораторов своими выступлениями. Я считаю его одним из самых крупных деятелей на митингах и собраниях, где он оказывал известное влияние на команду своим умением говорить с большим воодушевлением. Он у меня часто бывал; я с ним подружился, потому что я видел в нем глубоко порядочного русского солдата, глубоко преданного идее блага родины, и в этом отношении у меня с ним установилась тесная близость. Это был человек совершенно бескорыстный.

Затем произошли последние события в начале июня, которые заставили меня уйти с командования помимо желания правительства. В один прекрасный день состоялся митинг на дворе черноморского экипажа; это — огромная площадь, на которой было 15 000 народа. Я был на этом митинге. Разбирался вопрос персонально относительно меня. Обвинялся я, во-первых, в том, что являюсь в роде прусского агрария; во-вторых, — и это уже обвинение совершенно странного свойства, — что я ослабляю Черноморский флот выводом из строя судов, при чем приводился в пример миноносец «Жаркий», о котором я сказал, что я его никуда не пошлю и считаю его, как судно, совершенно несуществующим. Было еще одно обстоятельство. Был один старый броненосец — «Три святителя», который, в виду того, что очень много людей просилось в отпуски, и мне нужно было чем-нибудь компенсировать людей на транспортах, я решил вывести из кампании, и командой этого броненосца «Три святителя» пополнить команды транспортной флотилии в Одессе. Отпусками в это время ведали уже комитеты, и все отпуска шли без какого бы то ни было контроля со стороны командования. Я же получал только извещения от командира, что не хватает людей, партии не возвращаются, а новые уходят, и это заставило меня прибегнуть к такой мере. В военном отношении это играло очень незначительную роль. Это было старое судно, которое должно было осенью быть сдано в порт.

Я решил поехать на этот митинг, хотя меня не приглашали. Узнав время, когда будет этот митинг, около 4-х часов дня, я один вместе со своим дежурным флаг-офицером поехал в этот экипаж. Там какие-то неизвестные мне посторонние люди подняли вопрос относительно прекращения войны, представляя его в том виде, в каком велась пропаганда у нас на фронте, — что эта война выгодна только известному

классу. В конце же концов перешли на тему относительно меня, причем я был выставлен в виде прусского агрария.

В ответ на это я потребовал слова и сказал, что мое положение материальное определяется следующим. С самого начала войны, с 1914 года, кроме чемоданов, которые я имею и которые моя жена успела захватить с собой из Либавы, не имею даже движимого имущества, которое все погибло в Либаве. Я жил там на казенной квартире вместе со своей семьей. В первые дни был обстрел Либавы, и моя жена, с некоторыми другими женами офицеров, бежала из Либавского порта, бросивши все. Впоследствии это все было разграблено ввиду хаоса, который произошел в порту. И с 1914 года я жил только тем, что у меня было в чемоданах в каюте. Моя семья была в таком же положении.

Я сказал, что если кто-нибудь укажет или найдет у меня какое-нибудь имение или недвижимое имущество, или какие-нибудь капиталы обнаружит, то я могу их охотно передать, потому что их не существует в природе. Это произвело впечатление, и вопрос больше не поднимался.

Затем пошел вопрос относительно инцидента с «Жарким», затем с броненосцем «Три святителя». Действительно, флот несомненно ослаблялся в это время, в виду того, что приходящие в периодический ремонт миноносцы не поступали в срок просто потому, что работа шла отвратительно. Такие работы, которые при нормальных условиях требовали трех-четырёх часов, производились трое-четверо суток. Я совершенно определенно и не скрывая того положения, которое создалось в порту и во флоте, сказал, что ослаблять флот, с моей стороны, конечно, совершенная бессмыслица, и совершенно бессмысленно взводить на меня такое обвинение. Если кто-нибудь заинтересован, чтобы во флоте был порядок, то, конечно, я первый, и, следовательно, трудно мне предъявить обвинение и заподозрить меня в том, что я умышленно ослабляю флот, ибо это значит рубить сук, на котором я сижу. После этого мне никаких возражений сделано не было.

Я сел в автомобиль и уехал. Затем я вернулся к себе на «Георгий Победоносец», и чем кончился этот митинг, я не знаю. по-видимому, он кончился ничем. Вечером я получил в первый раз от нового Совета приглашение прийти в Совет на заседание. Как раз приехал Киселев ко мне и сказал, что дело очень плохо, что теперь поставлен вопрос относительно разоружения офицеров и обвинения их в контрреволюционном заговоре. Даных почти нет никаких. Но это теперь пущено кем-то, и среди команды идет по этому поводу брожение. Совет будет этот вопрос обсуждать, причем прибавил: «Я советую вам не ехать туда, так как это совершенно бесполезно, — делу не поможете, будете резкости говорить, ничего из этого не выйдет». Он сказал, что он будет на этом собрании, но мне там делать нечего. Я все-таки поехал.

Я решил посмотреть, так как я никогда еще не видел этих заседаний. Когда я приехал, то увидел, что там идет разговор о контрреволюции, реакции и реставрации и еще о чем-то. Я видел, что мне разговаривать об этом было совершенно бесполезно. Там был поднят, между прочим, вопрос о том, что всех офицеров надо немедленно разоружить, потому что иначе они устроят контрреволюцию. В какой форме, как они ее устроят, с оружием или без оружия, я не знаю, — это было настолько бессмысленно и глупо, что я, прослушав несколько речей, обратился к председателю: «Нужно мне здесь быть и есть ли ко мне какие-нибудь вопросы?». Он мне сказал, что если будет нужно, то меня можно будет вызвать, — зачем я буду даром терять время. Я уехал. Так меня тогда больше и не вызывали. Киселев известил меня, что, по-видимому, завтра будет решение относительно разоружения офицеров. На другой день было дано с одного из линейных судов радио в виде приказа о том, чтобы разоружить всех офицеров, произвести обыски оружия в офицерских квартирах и т.п. Это было часа в три-четыре дня. Сделано это было без уведомления меня, и прежде чем можно было на это как-нибудь реагировать, снести и поговорить, — это было выполнено, и на некоторых судах потребовано оружие. Офицеры были на кораблях. Несколько офицеров застрелилось в знак протеста, но в общем никаких эксцессов и историй не произошло. Я сделал распоряжение по своему судну, чтобы никакого сопротивления не было, чтобы не было кровопролития и никакого безобразия. Затем я потребовал собрать свою команду «Георгия Победоносца» и сказал несколько слов по поводу бессмыслицы этого акта и о том, что офицерство разбросано по всем судам небольшими группами, что бессмысленно бояться заговора офицеров, так как приходится их по 1 на 15–20 человек команды, и никакой по существу опасности они представлять не могут. Затем я сказал, что вообще какой бы то ни было контрреволюции не существует в природе, потому что союз офицеров существует совершенно открыто, он мне лично известен, я знаю все его дела, я бы сам не допустил в такое время какие бы то ни было выступления, потому что они приблизили бы нас к полнейшей гибели. Я указал им, что мы — старшие офицеры — были лояльны в отношении к правительству, исполняли все его приказания, что, следовательно, вопрос о какой-нибудь контрреволюции никогда не поднимался. Затем я сказал, что могу рассматривать это, как оскорбление, которое наносится прежде всего мне, как старшему из офицеров, здесь находящихся, что с этого момента я командовать больше не желаю и сейчас об этом телеграфирую правительству. Затем я взял свою саблю и бросил ее в воду<sup>32</sup>. Я стоял около трапа и ушел вниз.

После того я послал об этом телеграмму Керенскому, указав, что я уже ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях коман-

довать флотом больше не буду, что я передаю командование старшему после себя адмиралу, что в полночь я спускаю свой флаг, который будет заменен флагом старшего по мне. Я писал в письме, что я выполнил все то, что я обещал, но командовать больше не могу, и совесть моя чиста. Затем ко мне явилась какая-то депутация по поводу отпусков. Я сказал, что я больше не командую и просил ее по этим вопросам ко мне не обращаться, потому что я никаких распоряжений давать не буду.

Затем я вызвал контр-адмирала Лукина<sup>33</sup>, командующего линейными кораблями, старшего по мне, и сказал ему, что я, будучи фактически поставлен в невозможность командовать, приказываю ему вступить в командование флотом и поднять свой флаг. Затем ко мне вечером, часов в восемь, явилась какая-то делегация от Совета, которая без всяких мотивов вынесла резолюцию, что она считает необходимым, чтобы я сдал свое командование старшему. Я ответил что командование уже сдал адмиралу Лукину. Делегация просила, чтобы переданы были всевозможные секретные документы. Я сказал: «Принимайте какие хотите документы, но имейте в виду, что это длительное дело. Вы, конечно, можете их принять и рассмотреть». Вместе с тем такое же постановление было относительно других офицеров никаких постановлений не было сделано. Затем я сказал, что уезжаю к себе домой, на берег.

**Алексеевский.** Адмирал Лукин никаких возражений не сделал по этому поводу?

**Колчак.** Нет, он все видел и, конечно, возражал, но я сказал ему, что я приказываю, так как сегодня ночью возможна какая-нибудь тревога или нападение, и я фактически не могу командовать, а он обязан это сделать. Вечером я поехал к себе домой. Вскоре ко мне на городскую квартиру явились еще два-три человека с заявлением, что они уполномочены исполнительным Комитетом посмотреть, нет ли у меня каких-нибудь секретных документов, но так как я на квартире никогда не жил, приезжал туда на несколько часов по вечерам, а жил на корабле, то, конечно, никаких документов у меня не могло быть. Я предложил им осмотреть мой кабинет; они произвели обыск, но ничего не нашли. Я оставался дома. Смирнов пришел ко мне вечером.

Когда ко мне явился один из флаг-офицеров и сообщил, что будто бы состоялось постановление о моем аресте, я сказал, что поеду на корабль и буду там ночевать, так как я не хотел, чтобы меня арестовали в моем доме в присутствии моей жены и ребенка. Я уехал на корабль, там лег спать, и в 2–3 часа ночи меня разбудил флаг-офицер, который сообщил мне телеграмму от Керенского. Телеграмма была направлена по моему адресу и в Совет, и еще, кажется, по командам; составленная в очень резких выражениях, составленная по поводу безобразия,

которое произошло в Черном море, она говорила, что правительство считает подобные выходы актом, враждебным революции и родине, и требует немедленного прекращения всех этих безобразий и возвращения оружия офицерам, а что касается меня, то правительство соглашалось, чтобы я временно передал командование и требовало моего немедленного приезда в Петроград для доклада.

На другой день к моему чрезвычайно тяжелому состоянию прибавилось известие, что в Севастополь прибыла американская военная миссия адмирала Гленнона, которая имела в виду оставаться некоторое время для изучения постановки у меня минного дела и методов борьбы с подводными лодками! Тогда приехала в Петроград миссия Рута. При ней и была морская миссия Гленнона, которая приехала ко мне. Эта миссия предполагала у меня проплавать несколько времени и познакомиться с положением дела. Я, конечно, немедленно уехал на берег и сказал, что я никого не принимаю и принять миссию не могу, и она, ознакомившись с положением вещей, немедленно решила уехать.

Приказ правительства был выполнен, оружие было возвращено сейчас же, и все опять пришло во внешнее благополучие и спокойствие. Я оставался целый день у себя дома. Никто ко мне больше не являлся. Ночью я беспрепятственно сел в поезд и поехал в Петроград. В этом же поезде ехала как раз американская миссия Гленнона. По прибытии в Петроград я должен был явиться, — Керенского тогда не было, — к его помощнику Кедрову или Дудорову. Он мне сказал, что правительство в ближайшие дни соберется, что им назначается особая следственная комиссия, которая спешно выезжает в Севастополь для разбора всего дела. Председателями этой комиссии были А. С. Зарудный<sup>34</sup> и Бунаков<sup>35</sup>. Между прочим, Зарудный сказал, что все это — вздор, и снова все уладится; но я ответил, что это не наладится, так как я был целый месяц в этой обстановке, целый месяц старался всеми зависящими от меня способами как-нибудь дело поправить, что я считаю, что дело пойдет все хуже и хуже; во всяком случае я назад не вернусь и командовать при таких условиях не буду.

Затем я был принят в Мариинском дворце на заседании правительства. Я сделал доклад, изложил в деталях все то, что у меня было, и говорил, уже не стесняясь, резко, что все это я предвидел и обо всем заранее предупреждал, что я не могу рассматривать деятельность правительства иначе, как ведущую к разрушению нашей вооруженной силы. Я говорил, что гораздо проще было идти совершенно открытым путем, просто-напросто распустить команды и прекратить деятельность флота, потому что при таких условиях флот все равно никакой пользы не принесет. Вместе со мной был Смирнов, который тоже говорил на ту же тему. Я указывал, что считаю виною ту политику

правительства, которую оно приняло в отношении вооруженных сил, — подрыв и развал командования, подрыв его авторитета, постановка командования в совершенно бесправное и беспомощное положение; указывал, что под видом свободы собрания и свободы слова совершенно открыто ведется работа наших врагов. Я глубоко убежден, что во всех этих собраниях как в Балтийском море, так и в Черноморском флоте, для меня совершенно ясно видна работа не русская, а работа германской агентуры. Указал на целый ряд совпадений и фактов, которые мне были известны по Балтийскому и Черному морям, что в течение революционного периода образцовое состояние Черноморского флота в отношении команды систематически разлагалось у меня на глазах, причем я был бессилён что-либо сделать; я был только зрителем, и единственно чем я мог справляться, это моим нравственным авторитетом и моим влиянием.

Я указал, что долго на этом играть нельзя, что потом это все провалится, что про мои команды я в течение целого года ничего, кроме хорошего, сказать не мог; команды вели себя настолько хорошо, что очень редко доходили дела до моей конфирмации, и в большинстве случаев они были такого характера, что разрешались в низших инстанциях. Я не говорю уже о том, что ни одного случая смертной казни не было, — не было случая ссылки в каторжные работы. Несомненно, были проступки, но характера такого, что до командующего флотом они почти не доходили, — и такие команды довели до такого состояния путем систематического, планомерного нравственного развала. На этом меня правительство, бывшее в глубоком молчании, поблагодарило за обстоятельный доклад и отпустило. Никакого ответа мне никто не дал.

